

**От редакции:**

В этом Приложении размещена глава №7 «Между верховной властью и гражданским обществом» из книги «Современная демократия: очерки становления и развития» (М.: Форум, 2009. ISBN 978-5-91134-344-6) авторитетного учёного-обществоведа А.М. Салмина, к великому сожалению, безвременно ушедшего от нас в 2005 году. Но то, о чём он размышлял, что анализировал и выводы, к которым он пришёл, не утратили своей актуальности для научного сообщества и российского общества. В предлагаемом тексте рассматривается проблема реального функционирования современной демократии в национальном государстве. Автор подверг глубинному анализу то, как соотносятся между собой государственная власть, бюрократия, гражданское общество и политика.

**МЕЖДУ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТЬЮ И  
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ:  
СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ В  
ВЕРТИКАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ**

**А.М. Салмин  
д.ист.н.**

В предыдущих разделах то, что мы условно назвали «современной демократией», было рассмотрено на уровнях политико-философской концепции, религиозно-культурного генотипа, а также культурно-исторической общности, в которой воплотился этот генотип.

Между тем проблема реального функционирования современной демократии – это в первую очередь вопрос о том, как соотносятся между собой государственная власть, бюрократия, гражданское общество и политика. Последняя – в том распространённом сейчас узком значении этого слова, которое выделяет из всего объёма общественной и государственной деятельности сферу борьбы политических партий и политических организаций, сферу избирательных кампаний и действия всеобщего избирательного права.

Демократия как *политическая система*, то есть то, что мы, собственно, обычно и называем просто «демократией», возникла и существует в рамках территориального государства, с которым связаны её основные институты. Родство современной демократии с *политической нацией* (то есть нацией в государственно-правовом смысле) накладывает и на первую, и на вторую неизгладимый отпечаток, иногда затрудняя понимание действительных корней той и другой.

За десятилетие до нашедшей статьи Фрэнсиса Фукуямы [Фукуяма 1990: 134–148] и не менее известной книги Самюэля Хантингтона [Huntington 1991] американский историк Стэнли Хоффман писал: «Сегодняшние историки (за несколькими заметными исключениями вроде Фернана Броделя) всё ещё оперируют масштабом нации, однако нация не является более объектом их исследования. Чаще всего они сосредоточенно изучают культуру и менталитет, и подход их этнографический, а не политический: это изучение затерянных миров, каталогизация утраченных богатств, а не прославление каждого камня, пошедшего на памятник нации, каждой жемчужины в её короне» [Hoffmann 1979: 9].

Действительно, усиление наднациональных политических институтов в некоторый ущерб национальным (что особенно характерно для Европы), с одной стороны, кризис «модернизаторского» подхода к «третьему миру», обостривший интерес к *культурам* вообще, с другой, не могли не сказаться на отношении к государству-нации как к главному таксономическому уровню современного политического дискурса. Одновременно, и в связи с этим, в общем падал интерес и к изучению институтов и структур государства, зато повышенным вниманием пользовались

«ориентации», «ценности», «культуры» и «субкультуры» – всё то, что не связано слишком определённо с национальным государством.

И всё же до тех пор, пока национальное государство, государство-нация (это не вполне идентичные понятия, но об этом ниже) сохраняет и, быть может, даже отчасти – не исключено, что временно и локально – восстанавливает свою роль, обойти его невозможно. Во всяком случае, крушение коммунистического режима в СССР и на востоке Европы оживляет интерес к так называемой «транзитологии» (изучению способов перехода к демократии от того, что ею заведомо не является), а она ориентируется прежде всего на политические институты, и притом национальные политические институты.

«Демократические нации» естественным образом различаются и как нации, и как демократии, и предложить какой-то усреднённый образ такой нации – задача, очевидно, невыполнимая. Но столь же очевидно и то, что в опыте некоторых политических наций наиболее существенные особенности их общего развития отражаются полнее, отчётливее, «системнее», чем в опыте других.

Давно замечено и признано, что общая в основных чертах эволюция всей западной политики наиболее отчётливо выражена в специфическом и частном опыте Франции. Франсуа Гизо «первый заметил, что Франция имеет в среде других государств и народностей Запада ту особенность, что у неё яснее и определённое вырабатывались одно за другим те начала, или те элементы, которые более запутанно и смутно проявлялись у Германии, Англии и т. д. Поочередно во Франции и с величайшей силой и ясностью царствует Церковь, дворянство, король и, наконец, буржуазия. У других народов всё это действует смутнее и смешаннее, и потому действительно правы те, которые думают, что, зная хорошо историю Франции, можно уже иметь понятие об истории всего Запада и, зная хорошо историю одной Германии или одной Испании, Европы знать не будешь и даже эти частные истории поймёшь смутнее, чем понял бы их тогда, когда стал бы читать их после знакомства с ясной и резкой историей Франции» [Леонтьев 1912: 41].

Сказанное есть, конечно, некий миф, имеющий, как всякий миф, свою логику и свой контекст. Контекст распространённого мифа о специфической определённости исторического пути Франции во многом связан со значением французской культуры в Европе: его

рождение хронологически совпадает с пиком её влияния. Рост влияния этой культуры коррелирует между тем и с усилением французского государства, два столетия доминировавшего на континенте. Восхождение государства было также восхождением французской нации, складывавшейся как территориальное государство. История Франции, вошедшая в миф, и есть, собственно, история сильнейшего на континенте государства-нации вместе с его предысторией, а не просто история одного из народов или одного из государств. Собственно, поэтому в специфическом пути Франции как в капле воды и отразилась прежде всего общеевропейская тенденция образования государств-наций (то есть политических наций или территориальных государств), ставшая особенно актуальной в Европе именно тогда, когда родился миф.

Франция – не единственное в Европе старое территориальное государство. Примерно в одно время с ней таковой стала и Англия – вторая периферийная (в отношении Священной Римской империи) политическая нация. И если французская история является тем не менее более «выпуклой», то дело здесь не столько в специфике геополитического положения (чрезвычайно важной и вообще, и особенно в данном случае), сколько в том обстоятельстве, что партнёром и оппонентом французской политической нации всегда была – и остаётся по сей день – мощная, наднациональная, независимая католическая Церковь. Именно многовековой диалог с ней на языке политики (прервавшийся в той же Англии в XVI веке) придаёт французской политической истории особую преемственность и выраженность.

То, однако, что очевидно в применении к истории политической нации, может вызывать некоторые сомнения, когда речь идёт о демократической системе. Именно её типичность ставится иногда под сомнение, и на это есть свои причины.

Если попытаться предельно кратко, одним словом определить по внешним признакам специфику политической культуры Франции на фоне политических культур других стран Запада, то, вероятно, наиболее характерной особенностью её развития окажется нестабильность. Речь идёт, разумеется, не о состоянии политической культуры в тот или иной произвольно выбранный момент, а о типе её динамики, начиная с такого общего для всех стран Европы поворотного пункта, каким являлась Великая французская

революция. Нестабильность прослеживается сразу по нескольким осям политической культуры.

Во-первых, история Франции за последние два столетия – это уникальный для Запада каталог политических режимов. Самобытное развитие этой страны, в минимальной (на фоне ряда других стран) степени испытывавшее на себе воздействие других государств, воплотилось на политическом уровне в чередовании ряда крайне разнородных или, по крайней мере, разнохарактерных форм правления.

Во-вторых, чаще, чем где бы то ни было на Западе, менялось юридическое оформление политической системы в целом или её важнейших элементов, причём эти изменения лишь отчасти совпадали со сменой режимов. С начала первой своей революции и по сей день Франция сменила, как известно, полтора десятка конституционных актов, созданных *навсегда* (история страны не знает временных конституций), и множество избирательных систем.

В-третьих, известным многообразием отличались сами способы замены одного режима другим. Не раз и не два смена или модификация режима происходили во Франции в результате массовых революционных выступлений. В то же время ряд государственных переворотов, имевших первостепенное значение для её истории, а также немногим менее значимых попыток таких переворотов произошёл при видимом безразличии широких слоёв населения, в результате вмешательства (или угрозы вмешательства) армии в политический процесс, а также на парламентской и электоральной (плебисцитарной) основе.

В-четвёртых, чрезвычайно подвижной и пёстрой на фоне других стран Запада выглядит французская партийная система. В данном случае имеется в виду не столько наличие множества партий и их разнотипность (сосуществование крупных идеологизированных организаций, обладающих обширной инфраструктурой с мельчайшими, нередко эфемерными группировками), хотя и эта сторона заслуживает внимания [Lijphart 1984: 24 |], сколько быстрая, иногда калейдоскопическая эволюция если не всей партийной системы, то её существенной части.

Едва ли необходимо специально доказывать, что все перечисленные параметры нестабильности не являются независимыми друг от друга, представляя собой разные аспекты

«природы» французской политической культуры. Из этого не следует, конечно, что между этой природой и наблюдаемой нестабильностью можно поставить знак равенства: слишком поспешное отождествление разных уровней не раз вводило исследователей, в том числе и серьёзных, в соблазн ограничить анализ специфики политического развития Франции ссылкой на национальный характер французов, их особый темперамент [Siegfried 1951: 3–16].

В англосаксонской политической литературе такой подход очень рано (традиция здесь восходит, вероятно, к Эдмунду Бёрку) приобрел оценочный характер и лёг – явно или неявно – в основу идеи «ущербности», «неполноты» французской демократии в сравнении с традиционалистскими, монархическими системами правового государства (более старая линия сопоставления) или же стабильными, преимущественно двухпартийными системами англо-американского типа (более новая линия, окончательно оформившаяся ко времени, когда такие системы стали рассматриваться в качестве идеального типа общезападной демократии) [Hanley, Kerr, Waites 1980].

Действительно, когда говорят о «демократической системе» во Франции, о «старых традициях французской демократии», то подразумевают не совсем ту демократию, с которой мы встречаемся, к примеру, в англосаксонских или скандинавских странах. Это не демократия, развившаяся в последние два столетия на основе и под сенью непрерывно действующего избирательного механизма, воспроизводившего преемственные политические структуры, которые составляют основу государственной власти или (в монархиях) являются ею *de facto*. Французская демократия на протяжении двухсот лет действовала не столько в рамках – пусть раздвигаемых – существующих политических форм, сколько сквозь, в обход и помимо них, время от времени ломая одни формы и создавая другие. Тем и ценен, помимо прочего, опыт именно французской демократии, что он предостерегает от слишком поспешного отождествления природы демократии с тем или иным политическим институтом, той или иной их комбинацией, которую, как иногда кажется, можно просто позаимствовать.

Вообще говоря, редко задумываются о том, что если всерьёз принять в качестве исходной посылки обычный тезис о «несовершенстве» французского политического сообщества (политической системы, политической культуры, национального

характера) вследствие недостатка консенсуса между противоборствующими силами, то придётся признать, что политическая культура Франции, инкорпорировавшая демократический идеал, отличается не меньшей жизнеспособностью, чем англосаксонская, а политическая система в ряде случаев – едва ли не большей гибкостью, чем она, позволяя в длительной перспективе сосуществовать более несовместимым, как признаётся, ориентациям, чем те, которые доминируют в странах англо-американской традиции<sup>1</sup>.

Преобладание широкого консенсуса в обществе и устойчивость демократических институтов – обычно связанные, но всё же разные вещи; никто не доказал, что политическая система, сформировавшаяся в условиях длительного консенсуса, сама по себе способна быстро и эффективно восстановить политическую стабильность при её нарушении.

По сей день по традиции, восходящей к концу XVIII века, французская демократия, наряду с большинством других, нередко оценивается по критериям «высшего типа» политического устройства новоевропейского общества, который одновременно отождествляется как с реально функционирующей англосаксонской демократией, так и с той идеальной политико-правовой системой, требованиям которой будто бы в наибольшей степени отвечает эта последняя. XX век, между тем, на опыте тоталитарных организмов, выросших из демократических режимов, в очередной раз продемонстрировал несводимость реальной западной политики к её идеологизированному инобытию. Вновь, и на этот раз весьма решительным образом, было поставлено под вопрос и предубеждение, согласно которому политические культуры и политические системы романских и некоторых других стран воспринимаются как нечто в принципе сближающееся с англосаксонским прототипом, но по тем или иным причинам временно отклоняющееся от идеального соответствия ему.

И если сегодняшней исследователь обращается к специфике политического развития этих стран, то его, как правило, интересуют в первую очередь не отклонения от абстрактного демократического идеала, которые этот опыт будто бы демонстрируют, а то особенное, наиболее выраженное в нём, что помогает понять, как вообще

---

<sup>1</sup> В последние десятилетия, по мере выявления в принципе стабильного характера итальянской и особенно португальской и испанской демократий, в этом контексте всё чаще говорят о *романской модели* демократии.

функционирует реальный механизм, отождествлённый с современной демократией, что, где и каким образом обеспечивает связь между соответствующими ему идеальными представлениями и общественной практикой.

Мы пытались показать, какую роль в развитии *философии современной демократии* сыграла концепция Жан-Жака Руссо: эта своего рода «интеллектуальная провокация» всемирно-исторического значения. Гениально синтезировав целую культурную традицию, руссоизм дал сильнейший толчок мысли своих сторонников и противников. Одной из реакций на него и на революцию как на его «инобытие» стала выработка «антител»: того, что мы назвали *интеллектуальными цензорами* политической философии. Стихии культуры, породившие руссоизм, никуда не исчезли и после Великой французской революции, но политическая философия была уже более подготовлена к вызову. Блокируя или сублимируя эти стихии, она творит рационалистический миф: своего рода философское «тыловое прикрытие» для строителей демократических институтов.

Но некое синхронное, хотя и не всегда параллельное движение происходит и в *политии-эклесии*, как мы называли имманентное христианскому обществу государственно-церковное двуединство. В роли аналога руссоистской концепции, провоцирующей реакцию внутри страны и за её рубежами, выступает сам творческий опыт революции, порождающий на определённом этапе идею *нации-республики*. «Творческий» в данном случае – направленный на устройство, пусть своеобразно понятое, а не только на разрушение. В идее *нации*, отождествлённой с *республикой* (демократией), неизбежно выразились противоречия, присущие ещё просветительскому пониманию полисной демократии.

Во Французской Энциклопедии (выходившей в 1754–1788 гг.) в статье «Республика» читаем: «По самой своей природе республика может существовать лишь на небольшой территории» [Люблинская 1978: 104]. В статье же «Демократия»<sup>2</sup> находим: «Я не нахожу демократию самой удобной и самой устойчивой формой правления и убеждён, что она невыгодна для крупных государств... При демократии каждый гражданин не обладает ни всей суверенной властью, ни даже её частью. Эта власть сосредоточена в общем собрании народа, созываемом согласно законам. Таким образом, при

---

2 «Если в республике весь народ обладает верховной властью, это демократия» [Люблинская 1978: 103].



демократии народ является в одном отношении сувереном, а в других – подданным. Сувереном он является с помощью голосования, выражающего его волю, а подданным – в качестве члена общего собрания, облечённого суверенной властью... Народ, обладающий суверенной властью, должен сам делать то, что он может сделать хорошо, а то, чего не может сделать хорошо, осуществляет через своих министров, которые являются таковыми лишь благодаря тому, что их назначил народ» [Люблинская 1978: 105].

И просветители, и революционеры 1789 г., стремясь к некоему идеальному состоянию политики, не могут не оглядываться на античный полис (республику), но при этом, как и любой их современник, отлично понимают, во-первых, что полис и идеал – разные вещи, и, во-вторых, что современное территориальное государство – не полис<sup>3</sup>. Республиканцы 1792 г. воспринимают и его, и республику вообще, уже по-другому. Реальная *республика*, провозглашенная в 1792 г. как бы в силу стечения исторических обстоятельств, почти до неразличимости сливается с *нацией*, политически утвердившейся тремя годами ранее в борьбе с высшими сословиями<sup>4</sup>. В итоге огромная держава с республиканской формой правления, не имея никаких специальных инструкций, рассчитанных на управление такого рода государством, и никаких прецедентов, пытается быть одновременно республикой Руссо, американской республикой (то есть довольно слабым союзом небольших республик) и античным полисом (преимущественно римской республикой).

Отождествление республики с *нацией* – одновременно территориальным сообществом и культурной, если не

---

3 Вероятно, образнее и короче всего эта мысль выражена у Джеймса Мэдисона, критикующего тех, кто выдаёт за республику как таковую «буйствующие демократии древней Греции и новой Италии» [The Federalist Papers 1961: 100]. Впрочем, накануне революции во Франции были, конечно, люди, которые могли воспринимать античный идеал в высшей степени буквально. Шамфор рассказывает о некоем г-не де..., который, усматривая «причину упадка рода человеческого в появлении назарейской секты (то есть христианства – А.С.) и в феодальном порядке, говорил, что лишь тот будет хоть что-нибудь стоить, кто отречётся от христианства, перестанет быть французом и душой уподобится греку или римлянину» [Шамфор 1993: 145]. Этот анекдот, как и многие у Шамфора, оказался пророческим: многие деятели революции, как известно, поступили в точном соответствии с рекомендацией г-на де..

4 В культуре идея нации утверждается, очевидно, немного раньше, но ещё при «старом порядке». В мемуарах герцога де Сен-Симона, написанных, видимо, в 1840-х гг., само слово *la nation* используется исключительно в смысле «происхождение». В «Энциклопедии», когда речь идёт о «французах как нации» (статья «Французы», автор – Вольтер, опубликована в седьмом томе, вышедшем в 1757 г.), термин «нация» означает скорее «племя» или то, что в сегодняшнем французском языке называется «расой», чем политическую общность. Однако уже за несколько лет до революции о «нации» в современном смысле спорят со страстью и горячностью, на что есть, видимо, свои причины. Шамфор цитирует генерального контролера Жоли де Флери, будто бы говорившего ещё в 1781 г.: «Зачем вы всё время говорите о нации? Никакой нации нет, а есть народ, тот самый народ, который ещё в старину наши публицисты именовали "народ-раб", повинный барщиной и податями по воле и милости господина» [Шамфор 1993: 196].

кровнородственной общностью – придаёт переживанию нации-республики некую специфическую интимность, что, в свою очередь, как бы сближает её с компактным полисом. Нация-республика в понимании революционеров, злоупотреблявших символикой римской республики, – это вечный, надвременной полис, создаваемый «общей волей» в духе Руссо.

Как и в полисе, в нации-республике прямое массовое действие народа не противопоставляется изначально всеобщему избирательному праву, а должно было как бы дополнять и гарантировать его. Здесь существует какая-то предустановленная гармония: конфликт двух принципов не предполагается. Легко заметить, что в понятие демократии и Энциклопедией вложен смысл, потенциально содержащий в себе как идею «всеобщего избирательного права», так и особенно опасное в большом государстве допущение «прямого массового действия».

Лишь после 1848 г. становится окончательно ясно, что это две разные идеи, и гармония в данном случае не является предустановленной. Так, Огюст Бланки следующим образом критикует «слева» применение всеобщего избирательного права: «Обращение к помощи выборов на другой день после Революции могло иметь только одну из двух одинаково преступных целей: вырвать голоса принудительным путём или восстановить монархию... Один год диктатуры Парижа в 48-м году избавил бы Францию и историю от событий четверти века, клонящегося к закату. Если теперь понадобится десять лет такой диктатуры, колебаться не следует. В конце концов, парижское правительство – это правительство, избранное страной, а, следовательно, единственно законное. Париж – это не обыкновенный, замкнутый в своих интересах город, – он является подлинным представительством нации» [Бланки 1952: 231].

Идея республики, которую «избирает» себе нация, в данном случае отделяется от эмпирической нации и эмпирической республики и – пусть на какое-то время – противопоставляется ей на том основании, что Париж – сам по себе исторический «избранник Франции». Вечный полис сливается с революционной толпой на столичной площади, её же общую волю являет собой группа революционеров. И это не особенность левой культуры: какие-нибудь

«Королевские дружинники»<sup>5</sup> точно так же могли видеть себя «избранниками всей нации, присягающей монарху». Надвременная и до какой-то степени внепартийная идея нации-республики – кошмар французской политической культуры, призрак, от которого она не могла избавиться многие десятилетия, пока, наконец он не был приручен, обретя плоть в *реальной*, сложно организованной политике<sup>6</sup>.

Политическая и общественная роль этого идеала тем более велика, что он – не абстрактная норма, а активный соучастник повседневных свершений революции, у которой есть, конечно, и другая логика – развитие той, которую Токвиль назвал «провиденциальным процессом»: логика рационализации и демократизации.

Революция вначале парализует, а затем довольно легко *отменяет* всю прежнюю структуру власти снизу доверху, увенчивая этот процесс двумя символическими актами: уничтожением исторической монархии и казнью короля.

Особенность революционного развития во Франции состояла, однако, не в том, что оппозиция «старому порядку», победив, уничтожила монархию – в ходе первой английской революции монархия также была уничтожена, а король казнён, и даже не в том, что процесс, начатый революцией, после калейдоскопической смены режимов в конечном счёте – через сто лет – привёл к утверждению республиканского строя, а не парламентарной монархии, как в Англии.

Главные отличия заключались, во-первых, в глубине преобразований, предпринятых победившей революцией, в решительности, последовательности и сравнительной лёгкости, с которыми искоренялись институты, стоявшие между властью и

---

<sup>5</sup> Camelot du Roi – праворадикальная монархическая организация, военное крыло партии «Французское действие». Название традиционно - и ошибочно - переводится на русский язык как «Королевские молодчики». В действительности Camelot - двор короля Артура.

<sup>6</sup> «Руссоистский» идеал гомогенного политического сообщества, прочно овладевший общественным сознанием, вызывает к жизни любопытное явление. Идея нации-республики подвергается даже олицетворению, когда аллегорическое изображение римской Юстиции - Справедливости превращается в *Марианну* - символ одновременно нации и республики: Франции-республики. Ни одна из сменявших друг друга официальных эмблем - государственных гербов республики - не запечатлелась в общественном сознании с такой яркостью, как этот женственный образ. Именно его «народность», полуофициальность акцентируют глубину действующих в данном случае психологических механизмов. Образ Марианны – преимущественно левый, демократический. Был и соответствующий правый. Образ «*мерзавки-республики*», постоянно обыгрывавшийся в 1910-30-х гг. известным монархистом, редактором газеты «Аксьон Франсэз» и организатором политической группы под тем же названием - Шарлем Моррасом, также, надо признать, весьма далек от государственно-правовой идеи, выраженной сугубо формально.

обществом, наконец – в том, как отнеслась революция к самому обществу. Во-вторых, в том, как происходит выход из периода революционных потрясений с точки зрения стабильности режима. Во Франции он намного более болезненный и растянутый во времени, чем в Британии.

За много десятилетий до 1789 г. сама французская монархия приступила к постепенной рационализации власти, к замене её «архаических» форм новыми, бюрократическими. Революция в этом смысле прямо наследует ей, разрубая узел, который более или менее энергично пытались развязать все французские Бурбоны.

В 1790 г. *трибун революции*, Оноре Габриэль Рикетти граф де Мирабо в письме, предназначавшемся не кому иному, как королю Людовику XVI, подчёркивает: «Сравните новое положение дел с прежним порядком; вот откуда можно почерпнуть утешение и надежду. Часть актов Национального собрания – и часть наиболее значительная – очевидно благоприятна монархическому правлению. Разве пустяки – освободиться от парламента, от Генеральных штатов, от духовной корпорации, дворянства, привилегированных лиц? Мысль – из всех граждан создать один класс – понравилась бы Ришелье: такая ровная поверхность облегчает дело управления. Целый ряд царствований при абсолютно монархическом строении не сделал бы так много для королевского авторитета, как один этот год революции» [Mirabeau 1851: 355].

Не вполне ясно, искренен ли в данном случае «двуличный Рикетти», но сама постановка вопроса характерна. Парадоксальность положения французской монархии состояла в том, что ей необходимо было либо предупредить революцию, либо возглавить её. Ни того, ни другого эта монархия не сумела сделать, как не оказалась она способной выполнить и третью, уже более сложную задачу: подавить революцию. Соответственно, и проблема, стоявшая перед королевской властью и страной, была разрешена по-иному – самой революцией.

Социалист Жан Жорес, вообще говоря, не склонный ни к преувеличению роли «субъективного фактора» в истории, ни уж тем более к идеализации монархии, отдаёт в своём роде должное исторической роли монархов: «Если бы короли Франции могли действовать без дворянства и против него, если бы они могли быть попросту королями буржуазии и крестьян... то весьма вероятно, что

революции 1789 г. не было бы. Представим себе королей XVII и XVIII веков одарёнными бережливостью Фридриха II и его отца, твёрдостью Иосифа II Австрийского, Густава Шведского и короля Португалии в отношении дворян и монахов. Если представить себе, что наша старинная монархия с её сложившейся веками силой и почти священным престижем стала бы играть новую роль в новой Франции, то она, вероятно, довела бы нашу страну до самого порога пролетарской революции... Но французская королевская власть не обладала такой способностью осознания и обновления, и эта неспособность была, конечно, исторически обусловлена. Эта монархия была слишком старой и слишком связана со старыми общественными силами, чтобы приспособиться к новым временам. Король Франции гордился тем, что он был первым среди дворян, знатнейшим среди знатных. Он рубил головы мятежным крупным феодалам, но тут же спешил пополнить свой двор дворянами, чтобы насладиться своей победой и придать ей неоспоримость и величие» [Жорес 1977: 53].

Последствия такой политики предвидел Монтескьё, за три с лишним десятилетия до Мирабо писавший: «Есть люди, которые в некоторых государствах Европы (то есть, конечно, во Франции – А.С.) задумали полностью отменить юрисдикцию сеньоров. Они не видели, что добивались того, что было сделано английским парламентом. Уничтожьте в монархии прерогативы сеньоров, духовенства, дворянства и городов, и вы скоро получите в результате государство либо народное, либо деспотическое» [Монтескьё 1955:176].

Уничтожив эти прерогативы, англичанам удаётся сохранить свободу: «утратив её, они стали бы самым рабским народом на свете» [Монтескьё 1955: 177], но гарантий того, что это смогут сделать и французы, нет никаких. Феодалная монархия, в которой происходят подобные процессы, уже представляет собой потенциальную «деспотию». По выражению Монтескьё, «в монархии, где нет дворянства, монарх является деспотом» [Монтескьё 1955: 176].

Монтескьё, конечно, не предсказал и не мог предсказать того, что родившееся в процессе революции государство сумеет быть по-своему и «народным», и «деспотическим»: то попеременно, то вместе. Именно такой между тем и была революционная власть. Исчезновение посредствующих властей и отношений зависимости (необходимо помнить, что часть из них, в том числе многие

сеньориальные привилегии, отмирает ещё до начала революции в собственном смысле слова) открывает дорогу *деспотизму* (то есть гипертрофии верховной власти, лишённой традиционной легитимации и противовесов в обществе и государстве), скованному, впрочем, неэффективностью. Его дискредитация, в свою очередь, вызывает к жизни более эффективный «мобилизационный» деспотизм Бонапарта, дальнейшее же развитие порождает *деспотизм, ограниченный беспорядком*, – когда-то популярная во Франции формула, обозначающая состояние политики на протяжении большей части XIX века.

Насильственно устранённые из политического организма структуры оставляют после себя своего рода «фантомные боли»: поставленную ещё Монтескьё проблему «посредствующих властей» – совместный продукт консервативно-либеральной теории, местных интересов и ностальгии по «старому порядку» [Бутенко 1913: VI].

Во время революции «деспотизм» вплотную приближается к гражданскому обществу – и переходит его границу. Революции недостаточно смены верховной власти и уничтожения как собственно феодальных привилегий, так и реликтов сеньориальных отношений. Жан Жорес делает в своей истории революции очень точное замечание: «Всё... беспорядочное нагромождение пережитков старого порядка и буржуазных элементов рухнуло под первыми же ударами Революции, и когда говорят, что революция была "буржуазной", в это нужно внести ясность. Она не была совершена буржуазной олигархией, наоборот, она была совершена против буржуазной олигархии, связавшей себя со старым порядком» [Жорес 1977: 502].

«Буржуазная» революция действительно была *антибуржуазной* в том смысле, что направлялась против всех «посредствующих властей» – не только авторитетных, но и самозванных, сросшихся с ними, то есть той основанной на ротюрной собственности<sup>7</sup> олигархии богатств, которая явилась формой самоорганизации мещанства в обществе, сложившемся под сенью централизованного национального государства.

---

<sup>7</sup> Ротюрная собственность (от средневекового франц. термина *la roture* – простолюдинство, разночинство) – собственность (в т.ч. земельная), находящаяся в руках недворянских, простонародных элементов – *прим. ред.*

В глазах же представителей наиболее последовательных политических группировок её целью становится искоренение по возможности вообще всех форм вертикальной, иерархической зависимости и партикулярной самобытности: всего того, что на языке той эпохи очень расширительно именуется «феодализмом» или «феодальной системой». О «феодальной системе» (“*complexum feudale*”) говорят законодатели Учредительного собрания, подразумевая под этим термином не только совокупность отношений, вытекающую из владения фьефом, но и практически любую форму личного подчинения, основанного на традиции. В частности, к «пережиткам феодализма» относят и корпоративную организацию. Знаменитый декрет Учредительного собрания о муниципальном устройстве, гласящий: «Собрания не могут организовываться по ремёслам, профессиям или корпорациям, а только по кварталам или округам», считается «антифеодальным».

В дальнейшем значение понятия расширяется ещё больше – до совпадения с тем, что тогда же начинают называть «старым порядком» [Vovelle 1972]. На одном из этапов революционного развития – в период якобинской диктатуры – если не разработанной программой, то по крайней мере открыто объявленной целью политики делается не более и не менее как уничтожение едва ли не всех форм партикулярной зависимости. Конечно, политический курс якобинцев диктуется и прагматическими соображениями, а отпущенный им срок слишком мал, но, во всяком случае, некоторые из них прекрасно отдают себе отчет как в том, каким препятствием на пути реализации их республиканского идеала является гражданское общество, так и в необходимости преодоления этого препятствия. Последователь Жан-Жака Руссо Антуан де Сен-Жюст, например, выступает против права наследования на том основании, что целью политики должно было быть предоставление всем французам «средства получать предметы первой жизненной необходимости, завися лишь от законов, *без взаимной зависимости, свойственной гражданскому состоянию*» (курсив мой – А. С.) [Saint-Just 1946: 303].

В целом, если уничтожение традиционных форм господства ещё может быть объяснено общей логикой политической рационализации («совершенствование» инструментов власти и отношений в обществе) то намерение вторгнуться в область «гражданского состояния» – это

уже утопизм, желание перестроить общество заново на идеальных основах, частное проявление логики *нации-республики*. Это рационализация тотальная, адепты которой никогда не оказывались у власти в Англии: даже в годы, когда там существовал Commonwealth. Да и во Франции последовательная «рационалистическая диктатура» — скорее набросок проекта, чем политическая реальность. Действительное влияние утопистов на французскую политику заключаюсь не столько в продуманных и подготовленных действиях, сколько в придании видимой рациональности революционной стихии и в систематическом недопущении естественной консервативной реакции на неё. И без якобинских экспериментов этого вполне достаточно, чтобы и разрушить «старый порядок», и глубоко взрыхлить начавшее складываться гражданское общество.

Революционный взрыв, частично уничтоживший, частично расшатавший всю прежнюю систему власти и общественных зависимостей между тем вовсе не оставляет *индивида* лицом к лицу с *законом*, как этого хотели некоторые якобинцы. На развалинах «старого порядка» уничтоженная было революцией бюрократия «в стиле Людовика XIV и Кольбера» возрождается в новом качестве. Это вызывает в конечном итоге убеждение, что «как ни радикальна была революция... она ввела гораздо меньше нового, чем предполагают» [Токвиль 1911: 36].

Рядом с бюрократией быстро формируется освобожденное от многих ограничений гражданское общество. Своеобразный симбиоз гражданского общества и бюрократической организации – могущественная сила, препятствующая расшатыванию всей политической системы при разнообразных потрясениях [Crozier 1971].

«У нас во Франции, – пишет Токвиль, – со времени 1789 г. было много переворотов, изменявших до основания весь правительственный строй. Большинство их было совершено внезапно и насильственно, с открытым нарушением существовавших законов. Однако же беспорядок, порождавшийся ими, никогда не был ни продолжительным, ни всеобщим; они едва были почувствованы самой значительной частью нации, а в некоторых случаях даже едва замечены ею. Это объясняется тем, что начиная с 1789 г. устройство администрации всегда оставалось нетронутым среди развалин



политических конституций. Менялись личности правителей или формы центральной власти, но ход повседневных дел не испытывал ни перерывов, ни потрясений; каждый оставался подчинённым в тех маленьких делах, которые интересовали его лично, знакомым ему правилам и обыкновениям; он зависел от тех второстепенных властей, к которым привык всегда обращаться, и обыкновенно имел дело даже с теми же агентами» [Токвиль 1911: 104].

Если администрация при каждом государственном перевороте теряла «главу, то её тело оставалось нетронутым и продолжало жить: *те же функции отправлялись теми же чиновниками* (курсив мой – А. С), вносящими повсюду, несмотря на разнообразие политических законов, свой дух и свои приёмы. Они творили суд и расправу сначала именем короля, потом – именем республики и, наконец, именем императора. Далее, следуя за колесом судьбы, они опять начинали судить и управлять для короля, для республики и для императора, оставаясь всё теми же и при тех же приёмах. ...Оттого и казалось, по миновании первого толчка, будто в стране ровно ничего не изменилось» [Токвиль 1911: 195].

Крайне интересно, что Токвиль, много работавший в провинциальных архивах и хорошо разбиравшийся в администрации времён «старого порядка», революции, консульства, говорит именно о преемственности *функций* чиновников, а не о сохранении их *должностей*. Функции – это сочетание должностной рутины с личными связями и отношениями: вертикальными и горизонтальными. Политические перевороты меняют имена учреждений и их организацию, но люди, ориентирующиеся не столько на формы, сколько на отношения, переживают эти перемены.

Нестабильность верховной власти и политической организации, а также общая неубедительность послереволюционной политической культуры, имели ту оборотную сторону, что бюрократия старалась обособиться от гражданского общества, культивируя дух корпорации, если не касты. Функции административной власти здесь менее замаскированы и в меньшей степени дублированы общественными и политическими организациями и самоуправлением, чем, например, в странах англосаксонской традиции, что позволяет одному из современных политологов прийти к выводу, будто без мощной

бюрократической системы французское общество просто «не сумело бы выжить» [Blondel 1974: 29].

Так это или нет, но бюрократия во Франции на протяжении многих десятилетий действительно служит элементом стабилизации государственной жизни, обеспечивая, в частности, сравнительную безболезненность политических переворотов для основной части общества, но также и, в виде обратной связи, привлекательность политических, в том числе революционных инициатив.

Особая роль бюрократии во французском обществе связана с её историей, восходящей к централизации XVII века. Бюрократия, создаваемая монархией – рационализированная альтернатива традиционной властной вертикали, что придаёт ей характер особой субкультуры общества. Революция освобождает её от многого «лишнего», а последующие режимы доводят до известного совершенства систему её правил, внутренних «сдержек и противовесов».

Элитарный, кастовый дух послереволюционной бюрократии, вырастающей из старого «дворянства мантии» и расцветающей во время революции на его обломках, сродни духу армии или, точнее, гвардии. В известном смысле он позволяет ей даже играть роль *посредствующей структуры* между государством и гражданским обществом. Если пророчество Монтескье о неизбежности «деспотизма» там, где уничтожены посредствующие структуры, в целом не оправдалось во Франции, то это не потому, что такие структуры не важны, а потому, что их функции иногда могут отчасти брать на себя образования, как будто бы изначально, по замыслу созданные совсем не для этого.

В «чёрном ящике» такой бюрократии, как французская, сигналы, идущие от государства и от общества, преобразуются, отчасти меняя свой смысл, и это происходит не хаотически, а в соответствии с определённой системой. Рациональная бюрократия до известной степени деполитизирует команды, проходящие «сверху вниз», и универсализирует требования, идущие в обратном направлении.

При этом и с обществом, и с государством *послереволюционная* бюрократия говорит на одном языке – языке *послереволюционного* права. Правовой рационализм на протяжении нескольких столетий теснит во Франции, как и во всей Европе, правовой традиционализм.

Революция прерывает этот процесс, оказывая двойное воздействие на роль права в обществе. С одной стороны, закон как идея, как рациональный миф возносится на немислимую до этого высоту, превращаясь в *предельную норму* в том вакууме, который остаётся после «упразднения» религии и обычаев. С другой, роль положительного права низводится подчас до функции «рационализатора» того произвола, который революционеры творят руками чиновников, его идеологизированного орудия. Особенно угрожающим этот произвол становится, когда он обращается против «гражданского состояния» в том смысле, в каком говорит о нём Сен-Жюст.

Реакцией на опыт революции становится *новый правовой синтез*. Положительное право не только реабилитируется в качестве сущности, автономной в отношении идеологии, но и само становится своего рода идеологией, если не квазирелигией, заимствуя это новое качество у закона как рационального мифа. *Предельная норма* конкретизируется, одновременно освящаясь вернувшейся религией и входя в состав возрождающихся обычаев.

Выстраивается стройная «иерархическая» система правового мифа, во главе которой – *право: идея закона*, одновременно не фальсифицированная и освящённая, ниже – *естественные права человека*, ещё ниже – санкционированные ими *нормы положительного права*, регулирующие обычные<sup>8</sup> отношения.

Такая структура меняет дух права, и не просто восстанавливает его букву, а совершает правовую и, косвенно, социальную революцию: пожалуй, более глубокую, чем политическая революция 1789 - 1794 гг. Так, провозглашённое в новом контексте *право частной собственности* становится не просто фактическим итогом, но самой сутью Великой французской революции. Если её и можно назвать «буржуазной», то именно поэтому, а не потому, что её якобы совершила «буржуазия».

«Старый порядок», в пределах которого отношения собственности вполтались в сложную и по-своему стройную – несмотря на сосуществование в её составе органических и отживших элементов – иерархию посредствующих структур, уступает место новому строю, юридическая система которого является одновременно воплощением и регулятором сохранившихся, отчасти

---

<sup>8</sup> В данном случае – жизненные - прим. ред.

возрождённых или начавших развиваться на новой основе «зависимостей» гражданского состояния, а не их заменой, как предполагали якобинцы и их последователи.

Уже в период термидорианской реакции принцип ненарушимости права собственности начинает приобретать во Франции специфически идеологизированный характер. Для значительной части общества именно в нём воплощается морально-юридический императив «гражданского состояния». Система юридических норм этого общества, памятником которой по сей день остаётся Code Napoleon<sup>9</sup>, вопреки распространённому мнению фиксирует, то есть возводит к регулируемому идеалу, не идеальное общество, в которое погружены атомизированные индивиды, а реальное, хотя и *юридически стилизованное* (в том числе и на основе римского права) гражданское состояние. В его основе лежит представление об индивиде, чьи гражданские права и обязанности определяются прежде всего его принадлежностью к семье, общности, организации, наконец — государству как синтезу этих начал, но не как их альтернативе.

Отличие послереволюционного права от предреволюционного не в том, что оно будто бы рассматривает индивида (гражданина), а не его место в обществе в качестве точки отсчёта, а в том, что оно последовательно признаёт индивида только индивидом, гражданина — только гражданином в тех случаях, когда он фактически выступает лишь в качестве такового. Универсализм «наполеоновской» юридической системы вовсе не отрицает партикуляризм вообще, к чему стремились наиболее последовательные республиканцы революционных лет, а также их наследники, а дополняет, обобщает и по-своему «цензурирует» конкретные формы партикулярных отношений, существующих в гражданском состоянии<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Code de Napoleon (Code Civile) – Кодекс Наполеона или Гражданский кодекс (фр.) – общепольский свод узаконений, регулирующих частные отношения, в значительной степени основанный на принципах римского частного права. Введён во Франции 21 марта 1804 г., заменив собой все местные правовые обычаи (кутюмы), королевские и церковные законы и т.п. После смещения Наполеона в 1815 году был оставлен в силе новыми властями. Под французским влиянием такого рода кодексы стали создаваться в европейских странах - *прим. ред.*

<sup>10</sup> Эту особенность Наполеоновского кодекса тонко уловил Н. М. Карамзин, в 1811 г. обвинивший М.М. Сперанского (справедливо или нет – другой вопрос) в навязывании России чуждого ей закона. С одной стороны: «Кстати ли начинать, например, русское Уложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний...». С другой, в Кодексе описывается множество конкретных отношений, по разным причинам просто не существующих в России: «От начала России ещё не бывало у нас тяжбы о сих предметах...» [Карамзин 1991: 232 - 233].

Рациональное право, «цензурированное», в меру универсализированное, ставшее после эксцессов революции более, чем сводом норм, – *ценностью*, есть, помимо прочего, ещё и главная «посредствующая структура» послереволюционной политической системы.

Разумеется, речь идёт об институционально обеспеченном праве: о судах, прокуратуре, общей и политической полиции и т. д. Революция, империя, Реставрация – каждая из них по-своему активизировала потенциал романской правовой культуры. После революции судебная власть, наряду с бюрократией, берёт на себя некоторые функции уничтоженных «посредствующих властей». Она отчасти играет ту роль, которую, как полагают, должно играть разделение властей вообще, не позволяя торжествовать тому, что на языке эпохи именуется «деспотизмом» – то есть потенциально неограниченной власти, продолжением и вероятным орудием которой обычно бывает бюрократия.

Что касается центральной власти, то ничем реальным, кроме той же бюрократии, а также прессы, не опосредованная, она довлеет над «гражданским обществом», оставляя ему довольно узкую сферу деятельности<sup>11</sup>. Узкую, но тем не менее реальную, поскольку в конечном счёте она всегда лучше или хуже гарантируется судом и, время от времени, – «беспорядком», то есть очередной революцией, свержающей власть в Париже и несколько оживляющей политическую жизнь провинции.

Именно центральная власть даёт примеры крайней нестабильности, рождая представление об общей эфемерности послереволюционного государства. Внимательный наблюдатель февральской революции 1848 г. Ф. И. Тютчев даёт вполне профессиональный анализ «структуры» этой нестабильности, если можно так выразиться: «вот уже шестьдесят лет в этой стране осуществляется такого рода сочетание, что государство, революционное по принципу, тянет за собой на буксире общество, которое лишь взбунтовано, между тем как правительство – власть, которая необходимо сродни им обоим, не будучи в состоянии их примирить, силою обстоятельств осуждена на ложное и жалкое

---

<sup>11</sup> Представительные учреждения на протяжении половины XIX века избираются незначительным меньшинством граждан и в течение большей его части легко уничтожаются очередной революцией или переворотом.

положение, окружена опасностями и поражена бессилием. Поэтому все менявшиеся до сих пор французские правительства, кроме одного – правительства Конвента во время террора, при всём различии их происхождения, их учения и стремления сходились в одном: все они (не исключая даже того, которое явилось вслед за февральским переворотом) гораздо более подчинялись революции, чем воплощали её в себе. Нужно прибавить, что по крайней мере до сих пор все они погибали над выполнением этой задачи» [Тютчев 1913: 321].

А вот дополняющий эти наблюдения взгляд совсем из «иного угла», от другого свидетеля той же революции 1848 г. и связанных с ней событий – Карла Маркса: «Первая французская революция, поставившая себе задачу уничтожить все местные, территориальные, городские и провинциальные особые власти, чтобы создать гражданское единство нации, должна была развить далее то, что было начато абсолютной монархией – централизацию, но вместе с тем она расширила объём, атрибуты и число пособников правительственной власти. Наполеон завершил эту государственную машину. Легитимная монархия и Июльская монархия не прибавили ничего нового, кроме большего разделения труда, увеличивавшегося по мере того, как разделение труда внутри буржуазного общества создавало новые группы интересов, следовательно, новые объекты государственного управления. Всякий общий интерес немедленно отрывался от общества, противопоставлялся ему как высший, всеобщий интерес, вырывался из сферы самодеятельности членов общества и делался предметом правительственной деятельности... Наконец, парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции вынужденной усилить вместе с мерами репрессии средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать её. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 8: 206].

Понятие «добычи» в данном случае необходимо уточнить: рациональная самодостаточность и даже квазилегитимирующая роль чрезвычайно развившейся бюрократии делают её достаточно защищённой от борьбы партийных интересов. Высокая

централизация и специализация, своеобразная кастовость, корпоративность её основных подразделений (военного, разведывательного, ведомства иностранных дел, общей и даже государственной полиции и некоторых других) создают им в целом ничуть не меньший иммунитет от последствий политической борьбы, чем образцовая в этом отношении система гражданской службы Великобритании<sup>12</sup>.

В полном смысле слова «добычей» конкурирующих клик кроме отдельных министерских постов всегда оказывалась во Франции лишь понимаемая здесь довольно узко сфера внутренних дел и структура местных назначаемых властей, то есть та в наибольшей степени связанная с местными интересами область, в которой в англосаксонских странах такое соперничество более локализовано, «приземлено», органичнее связано с самоуправлением.

На протяжении двух столетий местная политика во Франции в значительной мере сводилась к урегулированию отношений между супрефектами и префектами (назначаемой из Парижа властью), с одной стороны, и избираемыми мэриями и генеральными советами департаментов — с другой.

В целом местная политика здесь традиционно приближена к сфере гражданского общества, которому до самого недавнего времени противостояла не стройная иерархия местного и регионального самоуправления, а в первой же инстанции Париж – если не непосредственно, то в лице префектов. В этом отличие Франции от некоторых других стран с представительной системой: англосаксонских и скандинавских. Если здесь политический процесс осуществляется более или менее равномерно во всех звеньях самоуправления, то во Франции самоуправляющееся (формально на уровне коммуны, неформально – естественно, и на более низком уровне) гражданское общество и Париж с его представительными учреждениями и связанной с ними бюрократией до последнего десятилетия были достаточно жёстко противопоставлены друг другу.

Речь идёт даже не столько об отсутствии механизма самоуправления в посредствующих звеньях самого по себе – какой-никакой, пусть ограниченный и блокированный временами

---

<sup>12</sup> Не следует забывать при этом, что «гражданская служба» во Франции – категория значительно более широкая, чем в Великобритании: в неё входят, в отличие от последней, служащие местных органов власти, судейские чиновники и учителя.

бюрократией, он всё же существовал, – сколько о том, что Токвиль в работе 1835 г. назвал недостатком «общинного духа» [Токвиль 1897: 50], который делал бы эти механизмы агрессивно-жизнеспособными.

Необходимо ещё раз подчеркнуть, что речь идёт о посредствующих структурах и только о них. В 1856 г. тот же Токвиль, глубоко изучивший к этому времени состояние общественной жизни во Франции, должен был признать жизнеспособность гражданского общества как такового, проявляющуюся, в частности, на самом низком уровне политической самоорганизации: в приходе и коммуне. «При старом порядке, как и в наши дни, – писал он, – во Франции не было города, местечка, села, даже самой маленькой деревушки, больницы, фабрики, монастыря или гимназии, которые смогли бы иметь независимую волю в своих частных делах или управлять по своему желанию своим собственным имуществом... И при всём том... последние обломки старого приходского управления ещё были дороги крестьянам, и даже в настоящее время единственная из всех общественных вольностей, которую они хорошо понимают, – это независимость приходов. Это единственное общественное дело, действительный интерес их. Те самые люди, которые охотно оставляют управление всею нацией в руках одного хозяина, возмущаются при мысли о том, что они не имеют голоса в управлении своею деревнею [Токвиль 1911: 194].

Эта особенность политической культуры не исчезает со временем, сохраняясь, несмотря на регионализацию страны и на учреждение института выборных глав местной исполнительной власти. Её отмечают и сегодняшние социологи, занимающиеся местной политикой во Франции. «Чем меньше коммуна во Франции, – констатирует один из них, – тем больший процент избирателей участвует в местных выборах, – это явление, как показывает опыт и имеющиеся данные, не характерно для большинства других стран Запада» [Tarrow 1977: 216]. Такой результат невозможно списать, как это иногда делается, на чисто «ритуальный» или «мобилизованный» характер голосования в местных общинах: он подтверждается и высоким уровнем участия населения в обсуждении местных проблем [Dureux 1960: 45–47].

Своеобразие французской модели делается особенно отчётливым при сопоставлении её с политической культурой такой близкой к ней в ряде отношений страны, как Италия, для которой



тоже, хотя и в ином смысле, характерна активность на уровне гражданского общества. Но в то время как в Италии «местная община интегрируется в политическую систему за счёт политизации избирателей (на местных выборах – А.С.) и политической деятельности местной элиты, французские избиратели привязаны к Парижу институционально: через административную деятельность своих мэров, которая опирается на «непартийный» подход к местной политике» [Tarrow 1977: 218].

Гражданское общество и непосредственно вырастающие из него органы местного самоуправления на уровне небольших и средних коммун (а таких во Франции около 97 %, в том числе в 50 % всех коммун насчитывается менее чем по 350 жителей) [Kervasdoue et autres 1976: 424] оказываются не просто самым «живым» слоем политической системы, противостоящим центральной власти и сдерживающим её авторитарные тенденции. Они, судя по всему, выглядят чуть ли не более «живыми», чем аналогичные структуры в других странах. Что лежит в основе этого, сказать, конечно, трудно. Это могут быть традиции муниципального самоуправления (существующие, однако, и в ряде других государств Западной Европы), во многом парадоксальные по своему смыслу итоги революции, уничтожившей ряд институтов, помимо прочего мешавших самовыражению гражданского общества именно на этом уровне; намеченный революцией и проявившийся в полной мере в годы III Республики глубокий раскол практически любой, самой маленькой, коммуны на правоклерикальную «партию священника» и леворадикальную «партию учителя», многие десятилетия активно боровшиеся друг с другом; или, наконец, сама выпавшая именно на долю коммуны компенсирующая роль в отношении центральной власти и её органов на местах. Возможно, наблюдаемый эффект вызван совокупным действием всех перечисленных факторов, воспитывающих национальный характер в определенном духе.

Так или иначе, но живая, активная коммуна – не просто потенциальная оппозиция по отношению к всепроникающим этатистским структурам. Известны случаи, когда авторитарные тенденции власти «гасились» на уровне гражданского общества, а диктатура просто не решалась вмешиваться в дела местного

самоуправления, по крайней мере, в течение определённого срока<sup>13</sup>. Высокая степень самоорганизации и активности гражданского общества заранее ограничивает возможности потенциальных путчистов, заставляя «ультра», сколько-либо реально воспринимающих обстановку, заверять сограждан в приверженности демократическим, республиканским традициям нации.

Специфические отношения между местной политикой и центральной властью зафиксированы и в том, что можно назвать каналами политической организации. Так, во Франции участие в политике на местном уровне является по традиции своеобразным трамплином для начинающего политика: посты члена муниципалитета или генерального совета департамента, мэра позволяют ему претендовать на выдвижение кандидатом от той или иной партии на выборах в Национальное собрание и, как правило, сохраняются за ним, часто на протяжении многих лет, и после переезда в Париж.

В сравнении с французским, английское общество гарантировало себе значительную область самоуправления, логическим продолжением и завершением которой выглядят парламентские учреждения, а связующим их обе звеном – прочно укоренившиеся в обществе политические партии. Эта система принимает на себя некоторые из функций, выполнявшихся во Франции бюрократией, отчасти уравновешенной и дополненной миром местных политических авторитетов – «нотаблей». Местная политика здесь в этом отношении практически автономна, а кандидаты на парламентских выборах подбираются через партийные структуры: обычно они предлагаются местными организациями и утверждаются конференциями. В Англии существуют как бы два автономных политических корпуса: «профессиональных» парламентариев и «профессиональных» муниципальных деятелей, во Франции – лишь один. Таким образом, всякая политическая активность во Франции, в том числе и максимально приближенная к гражданскому обществу, фактически ориентирована на «центр», пусть только в потенции. Глубокий раскол на гражданское и политическое общество, осложнённый противостоянием столицы и

---

<sup>13</sup> Пример из истории середины XX века – путчи в Алжире и на Корсике в мае 1958 г. Сообщения с Корсики после захвата там власти парашютистами выглядели следующим образом: «На острове, как и в Алжире, распоряжаются военные власти, а гражданская администрация, подчинившись им, продолжает выполнять свои функции. Корсиканские путчисты стараются не вмешиваться в жизнь населения...» [Ратиани 1983: 92]

провинции, как бы дополняется и отчасти компенсируется приемственностью структуры «политического корпуса».

Вековая неустойчивость верховной власти и её предполагаемый отрыв от гражданского общества приводили к постоянному возрождению, с одной стороны, демократической, массовой республиканской реакции, делающей центральную власть ещё более неустойчивой, с другой – к преобладанию в политической идеологии, отражающей умонастроения образованных слоёв общества, либерального *англофильства* в традициях Монтескьё. За идеализацией английских политических институтов всегда крылось желание расширить сферу политической компетенции «гражданского общества», и в первую очередь – его элиты, оградить их от бесконтрольных действий власти путём создания устойчивого представительства, реально ответственного министерства и, по мнению некоторых, возрождения классических «посредствующих властей»: провинциальных правительств, корпораций, а также создания более влиятельных партий<sup>14</sup>.

В принципе при всех различиях двух политических культур, французской и английской, с интересующей нас точки зрения непроходимой пропасти между ними нет: по крайней мере, в обобщённой политической картине Европы последних двух веков они оказываются гораздо ближе друг к другу, чем в любой конкретный момент истории. Тем более не выглядит самоочевидным весьма распространённое мнение о заведомом превосходстве английской модели: всё зависит от того, кто, как и что сравнивает. Тот же Карл Маркс видел в политической жизни Британии, которую он неплохо знал, не совсем то, что французские *англофилы*; и у него, в отличие от последних, не было оснований её идеализировать.

«Особые исторические условия, – писал он в 1871 г., – могли воспрепятствовать тому классическому развитию буржуазной формы правления, которое имело место во Франции, и привести, как, например, в Англии, к тому, что главные центральные государственные органы дополняются продажными приходскими собраниями, корыстолюбивыми членами городских советов,

---

14 Идеологизированное стремление к эмансипации «гражданского общества» как такового в той или иной форме никогда не умирало во Франции, пройдя в русле либерального сознания путь от требования либерально-аристократических «привилегий» до защиты «социальных авторитетов», а радикального – от прудоновского тезиса о примате социальной революции в отношении политической до призывов современных левых теоретиков к «возрождению гражданского общества» [Rosanvallon, Viveret 1977: 113].

свирепыми попечителями о бедных в городах и фактически наследственными мировыми судьями в графствах» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 17: 317-370].

Пошедшие совсем разными путями, но близкие в принципе политики смотрятся друг в друга как в зеркало, и в многочисленных зеркалах национальных и политических предубеждений иногда лучше заметны сильные и слабые стороны различных политических устройств. Не всегда и не во всём плоха бюрократия, и не всегда и не во всём идеально самоуправление. Каждый институт хорош или плох в той мере, в какой он хорошо или плохо играет уникальную в каждой ситуации совокупность ролей, помогающих обеспечить стабильность политики на условиях, соответствующих общекультурной норме.

Как бы ни оценивать историческую роль французской административной системы, следует признать, что во взаимодействии с гражданским обществом она создала – на определённом уровне – высокоорганизованное и устойчивое политическое сообщество, достаточно автономное по отношению к центральной власти и в то же время оставляющее гражданскому обществу значительную автономию в отношении как себя, так и этой центральной власти. Если «посредствующих властей» в классическом смысле во Франции в этот период и нет, то структура, играющая, в частности, некоторые из её ролей, безусловно существует.

Остаётся, однако, вопрос: что именно мешает самой центральной власти стабилизироваться, опираясь на этот симбиотический массив? Едва ли только неудачная модель разделения властей, отсутствие устойчивой и преемственной партийной системы «английского типа» или «нежелание быть свободным», как пророчествовал в середине XVIII века Монтескьё и как констатировал столетие спустя Токвиль.

Сравнение политического опыта Франции и Британии в XIX веке поучительно: оно показывает, как мало значит формальное сходство политических институтов, насколько бесплодно механическое их заимствование, а также – сколь условно действие такого «гаранта» политических свобод, как принцип разделения властей, если он берётся сам по себе, изолированно от других механизмов устройства государственной власти.

Ни конституционное англофильство влиятельной части французской политической элиты, ни прямое заимствование важнейших элементов британского политического строя в Хартии 1814 г. не стабилизировали французскую политику и сами по себе не расширили пределов политической свободы, которая, однако, доказывала свою неистребимость как в очередных политических переворотах, так и в самодеятельности гражданского общества и местной политики. Мало что давали и попытки создать политические партии «а l'anglaise»<sup>15</sup>: вместо образования влиятельных структур каждая очередная попытка приводила лишь к умножению числа клик, перетасовывавшихся и сметавшихся очередной революцией.

Используя сегодняшнюю терминологию, мы бы сказали, что даже при сходстве конституционного строя, когда оно существовало (в какой-то мере в 1814 - 1830, в большой степени – в 1830 - 1848, в некоторых отношениях – в 1860 - 1870 гг.), различными были политические режимы двух стран. Когда же конституционные порядки были несходными, главные особенности политического процесса в Британии и во Франции зависели не столько от этого, сколько от специфики политических режимов. А политический режим – это не только система государственных институтов, но и характер легитимации власти, и способ её передачи, и механизмы прямой и обратной связи между ней и основными группами общества, включая партийную систему, и т. д. Большинство же элементов политического режима, в отличие от формально понятой политической системы, ни рассудочно изобрести, ни заимствовать практически невозможно: это структуры органические, а не логические, складывающиеся годами, и в каждый данный момент – многофункциональные и обладающие высокой инерционностью.

Стабильность центральной власти зависит, конечно, от удачно найденной конституционной формулы и от хорошо продуманной системы прямой и обратной связи между ней и всеми другими уровнями политической организации. Это необходимые условия, однако достаточны они лишь при сохранении мира в обществе. Любое серьёзное потрясение, независимо от его природы, может продемонстрировать лишь относительную их значимость.

Главная проблема для любой политики – сохранение или обретение внутреннего единства в сфере политики, и не

---

15 В английском стиле (фр.) – прим. ред.

механического, а ценностного: «..царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падёт» (Лк., 11, 17)<sup>16</sup>. Это не формальное признание всеми единых правовых норм и принципов, а также «правил игры», но и не полное идеологическое единство общества. Речь идёт о нахождении основными организованными группами, объективно существующими в обществе, такой *государственной, национальной идеи*, которая не была бы для них неприемлемой по принципиальным соображениям.

И в Англии, и во Франции поиск такой идеи был жизненной необходимостью, потому что обе политики – каждая по-своему – оказались в своё время глубоко расколотыми по принципу отношения к Церкви и власти. В Англии с её «непоследовательной» Реформацией англиканский епископальный истеблишмент, ещё не ставший «столпом» национальной государственности (это случится лишь в 20-х гг. XVIII века), в XVII веке сталкивается со вполне реальным вызовом. С одной стороны, его бросает католицизм, доказавший и своё влияние на часть общества, в том числе на часть элиты, и способность быть «религией монарха», с другой – диссентеры<sup>17</sup>, продемонстрировавшие свои возможности в революции 1640-х гг. и никогда не отказывавшиеся от идеи создания «подлинно реформированной» церкви Англии. Положение ещё усложняется благодаря унии с Шотландией, где совершенно иная конфессиональная композиция и религиозная организация (самое существенное в ней – наличие государственной пресвитерианской церкви), что в целом даёт достаточно неопределённый итог в масштабах всего королевства. Со временем вносит свою лепту в общую нестабильность и католическая Ирландия с её религиозным вопросом.

Религиозный раскол способствует соединению упрямой династической логики с логикой конфессионального противостояния. Как это ни парадоксально, на практике это означает своего рода секуляризацию государства. Один из двух «божественных даров» – власть в лице монархии и династии – не утрачивая в глазах общества сакрального и традиционного характера, в логике британской

---

<sup>16</sup> Цитата из Евангелия от Луки – *прим. ред.*

<sup>17</sup> Речь, в соответствии с обычным словоупотреблением, идёт в данном случае о протестантских деноминациях, отколовшихся от епископальной церкви Англии, при том, что в некоторых документах упоминаются даже «протестующие католические диссентеры». Что касается распространённого в отечественной исторической литературе термина «диссидент», то в самой Англии он употребляется для обозначения групп, отколовшихся от государственных церквей других стран.

политии-эклесии (polity and religious body) становится со временем главным орудием политического компромисса.

«Славная революция» 1688 г. и Акт о престолонаследии 1701 г., утвердивший неперемнную принадлежность суверена протестантской церкви, закладывают и основу стабильности, невозможной, впрочем, без того, что было как бы оборотной стороной конституционного оформления истеблишмента. Речь идёт о веротерпимости (от так называемого Tolerance Act 1689 г., предоставившего диссентерам свободу частных богослужений, через Relief Act 1778 г., отменивший антикатолические законы елизаветинской эпохи, до Emancipation Act 1829 г., предоставившего католикам религиозную свободу) и, что, может быть, ещё важнее, об утверждении различных свобод – личных и местных.

Совсем не так развиваются события во Франции. Уничтожение «старого порядка» вместе с монархией в 1789–1792 гг. порождает и *легитимизм* как политическое течение, и очень тесно связанную с ним католическую реакцию. Они кратковременно торжествуют в режиме Реставрации, ограниченном, правда, Хартией, но тем не менее совершенно неприемлемом для республиканцев и антиклерикалов и неубедительном как для более последовательных конституционалистов, так и для крайних монархистов.

Не более стабильна и Июльская монархия, типологически близкая режиму английской «славной революции», но, в отличие от последней, совершенно неприемлемая для легитимистов: у орлеанистов (не в пример английским оранжистам) нет даже намёка на конфессиональные «извиняющие обстоятельства», да и династическая ситуация исключает примирение с легитимистами в обозримом будущем. Легитимная династия оказывается неприемлемой для влиятельной части французского общества, Орлеаны, в общем, *de facto* приемлемы для большинства, но не имеют под собой законной основы. Общественное потрясение, революция 1848 г., не обращённая первоначально против королевской власти, опрокидывает их – и навсегда. В итоге после ряда потрясений, изменивших, помимо прочего, социально-экономические условия, во Франции возникает республиканский режим. Важнейшей политической проблемой для него становится достижение если не компромисса, то хотя бы баланса между клерикальным и антиклерикальным течениями, между крайними республиканцами и

легитимистами. Твёрдые основания нового республиканского режима удаётся заложить только в самом конце XIX века.

В этой связи представляется существенным, что пути Англии и Франции расходятся не тогда, когда каждая из стран выступает против своей традиционной монархии. Обе страны проходят через революцию, царевубийство и реставрацию в действительности удивительно сходным образом. По-настоящему они расходятся лишь в тот момент истории каждой из них (в Англии он наступил в 1688 г., во Франции – в 1830 г.), когда им приходится решать вопрос о твёрдых основах стабильной, подлинно законной (а не только восторжествовавшей в силу поражения революции) государственности. История показала, насколько важным, «невторостепенным» оказывается в этом случае адекватное понимание династической идеи в её соотношении с идеей органического устройства государства, соответствующего одновременно абсолютным ценностям и духу времени. То, что иногда называется «компромиссом» 1688 г., удовлетворило большинство страны, её культурное и политическое ядро, так как соответствовало стержню её культурного развития и при этом не вступило в неодолимое противоречие с законами – нравственными и юридическими.

В противоположность этому Июльская монархия во Франции легитимной не была и проблему стабилизации не решила, оказавшись очередным звеном в цепи паллиативных решений и оставив стране в наследство (как и другие режимы: Реставрация, империя, разные республики) лишь очередную «партию» – орлеанистскую, к которой и по сей день возводит свою генеалогию (скорее легендарную, чем реальную) одна из сегодняшних политических сил – республиканцы. В промежутках между попытками нормализовать и даже иногда гармонизировать отношения между основными сегментами общества (режим «ста дней» в 1815 г., период примерно между 1816 и 1824 гг. при Бурбонах, вся Орлеанская монархия, «либеральная империя» Наполеона III в 1860–1870 гг.) режимы опираются преимущественно на силу, в том числе, в некоторые не очень продолжительные периоды, только на силу. Как бы то ни было, в течение столетия после начала Великой французской революции в стране происходит дюжина насильственных смен режима, не считая таких же смен власти формально в рамках одного и того же режима и неудачных революций и переворотов...



Стабильности французского государства на протяжении всего XIX века мешает отнюдь не его слабость и не политическая сила оппозиции, а *отсутствие легитимного синтеза политических субкультур*. Любой режим, опирающийся на силу или рациональный расчёт, в длительной перспективе гарантирован лишь возможностями бюрократии, своей популярностью и инерцией общественного мнения. Армия, даже если она приводит режим к власти, ничего не может сделать для его увековечения, прагматические аргументы бессильны против страстей, а первоначальное воодушевление – против усталости и апатии. Теряя поддержку в обществе, правительство увлекает за собой режим, не имеющий твёрдых гарантий в сфере идеологии. «Революционное по принципу государство», по выражению Тютчева, в очередной раз доказывает, что оно – колосс на глиняных ногах.

О том, как это происходило конкретно, свидетельствует рассказ Карла Маркса о февральской революции 1848 г.: «Февральские дни первоначально имели целью добиться избирательной реформы, которая расширила бы круг политически привилегированных внутри самих имущих классов и свергла бы исключительное господство финансовой аристократии. Но когда дело дошло до действительного столкновения, когда народ поднялся на баррикады, когда национальная гвардия заняла позицию пассивного выжидания, армия не оказала серьёзного сопротивления и монархия была обращена в бегство, то учреждение республики стало подразумеваться как бы само собой» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 8: 125].

Независимо от того, восстанавливается ли нарушенное революцией единство политики-эклесии или нет, действительные причины как самих революций, так и связанной с ними долговременной неустойчивости государственного здания со временем уходят в прошлое и идеологизируются. На первый план неизбежно выдвигаются социально-экономические проблемы, рассматриваемые, по крайней мере, «на равных» с культурными, относящимися к структурообразующим началам политики<sup>18</sup>. Анамнез, диагноз и прогноз революции становятся предметом межпартийных или научных дискуссий. Внешние признаки или отдельные итоги

---

18 В данном случае под «революциями» несколько условно понимаются целые исторические периоды, вместившие в себя события между свержением абсолютной монархии и утверждением нового стабильного политического строя. В Англии это 1640 - 1710-е гг., во Франции – 1790 - 1890-е гг.

того, что было самоценным явлением, превращаются в «кирпичики» различных политических концепций, более или менее успешно используемые вне исторического контекста.

Так, например, для П. А. Кропоткина каждая из двух революций «имеет нечто своё, ей свойственное... Франция и Англия обе уничтожили у себя абсолютную власть короля революционным путём. Но, борясь против королевской власти, Англия больше всего занялась утверждением личных прав человека, особенно в религиозных вопросах, и правами местного самоуправления для каждого отдельного прихода и общины. Франция же обратила главное своё внимание на земельный вопрос и, нанеся смертельный удар по феодальному строю, она нанесла также удар крупной собственности и пустила в мир идею о национализации земли и о социализации торговли и главных отраслей промышленности» [Кропоткин 1979: 449].

Своеобразие социально-политических «свершений» двух революций, являющееся, на первый взгляд, простым отражением в сфере политики и права специфики социально-экономических условий, в действительности, однако, не может, как мы пытались показать, быть понято вне более широкого комплекса зависимостей, в который входят, разумеется, и социально-экономические отношения в узком смысле слова. Они вплетаются в общий ход истории, вызывая, в частности, потрясения, губительные для политических режимов. Но, с другой стороны, и масштабы социально-экономических «катастроф» (здесь скорее в геологическом, чем обиходном смысле слова) во многом зависят от прочности оснований политического строя.

Идея современной демократии связана с представлением о самоценности политической, партийной борьбы, предполагающей равенство сторон в том смысле, что одна сторона не может рассматриваться как заведомо менее достойная, чем другая – это общее место западноевропейской и, шире, западной политической философии. Менее очевидным является то, что само состояние такого рода есть не материализация какой-то готовой теоретической формулы, а итог векторного, по-своему алгоритмического (то есть характеризующегося определённой последовательностью действий и событий) процесса. Здесь прежде всего важны два обстоятельства.

Во-первых, партия или партийная система как определённый тип организации имеет два измерения – горизонтальное и вертикальное. Беря в расчёт лишь одно из них, мы рискуем ошибиться в оценке смысла и перспектив развития той или иной конкретной партии или партийной системы.

Во-вторых, множество партий и партийная система – разные вещи. Множество само по себе системы ещё не составляет. С другой стороны, могут существовать и однопартийные системы. Партийная система в собственном смысле слова – это органическая часть политики, включённая в систему её горизонтальных и вертикальных связей и играющая функциональную роль.

Обычное заблуждение вульгарного социологизма – представлять себе партию как организацию, выражающую какие-то интересы. Любая партия – часть не только политического мира в узком смысле слова, но и общества в целом. В этом смысле она первична по отношению к любому интересу, в отстаивании которого её подозревают: это иногда так, даже если партия создаётся специально для лоббирования какого-то одного вопроса.

Политические партии – многомерные образования, обладающие собственной исторической реальностью и обычно связанные с очень разнородными, долго «подбирившимися» одна к другой социальными группами. Интересы и конфликты этих последних прослеживаются в борьбе партий, но, конечно, не сводятся к ней без остатка. В свою очередь, и борьба партий обладает значительной исторической самостоятельностью. Не только партии должны применяться к интересам гражданского общества, но и его группы вынуждены искать своё место в борьбе партий: поляризоваться, объединяться, идти на компромисс, особенно в ситуациях, когда создание самостоятельной партии по тем или иным причинам невозможно или бесполезно. В итоге каждая из партий превращается в сложный конгломерат экономических, политических и бюрократических интересов, формальных и неформальных отношений, наслаивающихся друг на друга в течение жизни нескольких, а иногда и многих поколений. В ряде случаев партии полностью или почти полностью утрачивают «идеологическое лицо», что не мешает им оставаться узнаваемыми «политическими личностями».

Никогда нельзя сказать точно, с чего начинается партия: с лидера, идеи, интереса, теоретической программы или системы

отношений между людьми. Тем более невозможно представить заранее, что из перечисленного может в тот или иной момент выйти на первый план и сыграть решающую роль. Партии похожи на живые организмы: они рождаются, растут, размножаются, болеют, выздоравливают или умирают – и иногда гибнут насильственной смертью. Рост партий очень зависит от внешних факторов: политической культуры, особенностей политического режима, в том числе – избирательных систем и устройства представительных органов.

В сущности, партия – одна из форм вертикальной организации общества и, в частности, один из каналов вертикальной мобильности. В реальных обществах партии соседствуют с родовыми структурами, иерархиями, а также с бюрократиями, тесно переплетаясь и частично срастаясь с ними. Исторически структуры вертикальной интеграции возникают не одновременно – время их появления разделено эпохами. Бюрократия – следствие такой же рационализации традиционных отношений, как теория естественного права или концепции происхождения власти. Она теснит эти отношения, но не может вытеснить их до конца. Партии же – явление идеологической эпохи, их с некоторым допущением можно назвать оплотнившимися идеологемами<sup>19</sup>. Идеология, в отличие от теории, это не рациональная вера в нефальсифицированное основание, а вера иррациональная, это стыдливое, полусознанное возвращение через окно иррационального, выгнанного в дверь.

Партийные системы играют в политике важную роль там и тогда, где и когда прочие формы вертикальной организации позволяют им делать это. Позволяют в двух смыслах: во-первых, не мешают чрезмерно и, во-вторых, поддерживают их. Партии прорастают сквозь эти формы, отчасти перерождая их, но и сами, в свою очередь, перерождаются ими: часто говорят о *бюрократизации* партий, о *клановости*, но также и о *партийном подходе* к формированию того или иного бюрократического ведомства и т. д. Нет нужды напоминать о роли иерархии в конфессиональных партиях и о псевдоморфозах – религиозных сектах, родовых или

---

<sup>19</sup> Сам псевдогреческий термин «идеология» впервые появляется в 1801 г. в названии первого тома книги А.Л. Дестют де Траси «Элементы идеологии».

кастовых организациях, действующих в некоторых странах Востока под видом партий и выполняющих ряд их функций.

Другими словами, партии – неотъемлемая часть сегодняшней политической жизни, отражающая скорее общее состояние мировой системы, чем положение в отдельных странах или культурных сообществах. Как формы вертикальной организации они существуют практически повсеместно, и партии различаются не их наличием или отсутствием, а их соотношением с другими такими формами, а также тем, как они организованы в систему: это уже зависит от культуры и от истории.

Не доказано, что партийная система «западного типа» может сложиться там, где не было базового культурного раскола, о котором шла речь выше. Она может, однако, быть привита к местной культуре (ситуация некоторых восточных обществ), если та даёт для этого повод. Под «поводом» в данном случае понимаются те реальные структуры сложносоставных (в этноконфессиональном, лингвистическом, культурном отношении) обществ, которые делают возможным «узнавание себя» в зеркале западной политической истории и более или менее плодотворное использование выработанных западной историей институциональных форм. Или, другими словами, симбиоз политической идеологии, а также технологий и самобытных структур – как нечто глубоко отличное по содержанию, если не по форме, от своего прообраза.

Чтобы идея партийной борьбы сама по себе сделалась политической ценностью, а конкурентная многопартийность – небесполезной или, может быть, неизбежной формой самоорганизации политики, необходимы были некоторые предпосылки. Необходим был раскол новоевропейского общества по отношению к существующим религиозным традициям, затяжной конфликт между возникшими силами, интегрирующий ряд других конфликтов более низкого порядка, затем примирение, требующее предварительной выработки процедуры его достижения.

История Западной Европы знает фактически две завершённые формы базового раскола, предопределившие и характер *политических синтезов*, каждый из которых задаёт параметры развития своей партийной системы, построенной на чётко выраженной альтернативной основе. В одном случае (англосаксонская ситуация) первоначальный раскол имеет

конфессиональный и династический и потому частный характер, он относится по сути к характеру власти, но не к её природе, и тем более – не к природе и характеру жизни<sup>20</sup>. Такой характер раскола, преодоленного в «синтезе» 1688–1714 гг., во многом связан с предысторией: Реформацией, «национализировавшей» английскую церковь и превратившей католиков, ориентирующихся на наднациональный духовный и политический центр, в меньшинство.

Английские партии возникают как клики, как непрошенные посредники между двором и обществом, лавирующие между тем и другим и извлекающие из этого выгоду. Они самоопределяются (весьма противоречиво и непоследовательно, если судить со стороны) в многомерном политическом пространстве, в котором конфессиональный императив оказывается способным войти в практическое противоречие с принципом легитимности.

После «славной революции», Акта о престолонаследии и воцарения Ганноверской династии (1714 г.) основания, вызвавшие к жизни вигов и тори, постепенно исчезают – но не исчезают группы интересов, которые они привлекли к себе и которым помогли оформиться. Не появляется и специальных оснований для роспуска или самороспуска старых партий. При этом они теряют определённую очертаний и в некоторые периоды (часть царствования Георга III, например) вообще практически не заметны на политической арене.

Лишь индустриализация страны и связанные с ней социальные потрясения возвращают в политику на постоянной основе крупные политические объединения, а избирательная система (мажоритарная в один тур) стимулирует выделение двух из них, находящихся естественные (во многом легендарные) корни в *торизме* и *вигизме* «героической эпохи». Уже полтора столетия назад главные английские партии превращаются, в общем, в нечто, отдалённо напоминающее сегодняшние «народные» партии: в две (в идеале) функционально полезные для политики и практически безопасные для неё силы, одна из которых чаще всего символизирует необходимый политический,

---

<sup>20</sup> При всех «тотальных» претензиях соперничающих конфессиональных течений на религиозное единство нации, при крайне острых и иногда кровопролитных столкновениях фактическая религиозная терпимость была в Англии скорее правилом, чем исключением, по крайней мере в тот период, когда там закладывались основы партийной системы. Так, елизаветинские антикатолические законы, стоившие, в частности, жизни 189 католикам, были отменены лишь в конце XVIII века, но фактически не применялись в течение почти столетия до того. В стране велась открытая борьба за их отмену и за введение режима религиозной терпимости (установлен лишь в 1829 г.).

социальный и экономический прогресс, а другая – столь же необходимые сдержанность, преемственность, осторожность.

При этом роли могут и радикально меняться в связи с переосмыслением самого значения прогресса, символика же гораздо более инерционна, в отличие от наиболее подвижной и необязательной риторики. По ироническому замечанию Карла Маркса, «...английские тори долго воображали, что они страстно привязаны к королевской власти, к церкви и к прелестям старинной английской конституции, пока в час опасности у них не вырвалось признание, что они страстно привязаны к одной только *земельной ренте*» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 8: 146].

Действительно, в современном, то есть достаточно секуляризованном обществе рано или поздно может наступить момент, когда «традиционный», консервативный блок, подчиняясь логике развития общественной системы в целом, обнаружит в динамическом противостоянии как либеральному блоку, так и самому историческому развитию свои экономические и социальные интересы. Не надо, однако, забывать, что «критическая минута», о которой говорит Маркс, наступает не в период закладывания основ партийной системы как таковой, а значительно позже, если наступает вообще. Но даже и тогда ценности обоих блоков остаются достаточно интегрированными, образуя более или менее целостный символический комплекс и обретая имя, иногда случайное. Экономический интерес, во всяком случае, редко выходит на первый план в чистом виде – даже в тех случаях, когда та или иная партийная программа акцентирует вопросы именно экономики. Характерно, что названия английских партий многие десятилетия не имели никакого отношения к идеологии, не говоря уже об интересах: более того, для людей не только XIX и XX, но и XVIII века слова *тори* и *виги* вообще бессмысленны<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Как известно, «виги» и «тори» возникли в 1679 г.: поводом для поляризации послужил вопрос о законопроекте, лишавшем герцога Йоркского (будущего короля Якова II) права престолонаследия из-за его католичества. Исследователи предполагают, что «вигами» (по-гэльски – «конокрад») противники первоначально называли шотландских пресвитериан. Словечком же «тори» ирландские протестанты именовали бунтовщиков-католиков. Таким образом, если поверить этой интерпретации, в глазах доброго англиканина, представителя истеблишмента, виги, ставившие конфессиональный принцип выше принципа законного престолонаследия, иронически ассоциировались с похитителями чужого добра, а тори, делавшие упор на наследственных правах в ущерб значению веры – с кознями «папистов». В силу своеобразной закономерности, выражающей, видимо, скрытую потребность политики в минимальной символической интеграции, а не только неизбежной преемственности форм, самоназвания противоборствующих в ней сил, как правило, либо более универсальны и абстрактны, чем разделяющие их в данный момент реальные основания, либо даже абсурдны, представляя собой некую карикатуру, которую, на первый взгляд

Что же касается «идеи» обеих партий, то есть логики их противостояния, то она постоянно меняется: на каждом повороте истории они принимают на себя всё новые функции, сохраняя при этом преемственность ничего не значащих названий. Лорд Болингброк уже в 1733 г. недоумевает по этому поводу: «Что может быть нелепее и смехотворнее, чем сохранение чисто номинального деления на вигов и тори, существовавшего ещё до революции (1688 г. – А.С), когда принципы, которые придавали этому делению какой-то реальный смысл, исчезли? Точно также вряд ли что может быть резоннее, чем признание номинального деления на конституционалистов и антиконституционалистов, или на партию двора и партию страны в нынешние времена, когда разногласия основных принципов придают этому делению вполне реальное значение» [Болингброк 1978: 196].

Французская партийная система складывается по-иному, у неё другие исторические предпосылки. Французская Реформация терпит политическое поражение, завершаясь изгнанием части реформатов из страны и общественной изоляцией оставшихся (1661–1685 гг.). Как одно из следствий, оппозиция как абсолютизму, так и ультрамонтанству принимает радикальный характер и со временем сублимируется в светские «холистические» концепции. Возникает определённая субкультура и традиция, накладывающие отпечаток на всю политическую историю страны. «Всякий, кто вдумается в происхождение социалистических теорий XIX века и ознакомится с действительной – не легендарной – историей их зарождения и развития, – отмечал П. А. Кропоткин, – тот неизбежно увидит родовую преемственность между социалистическими теориями 30-х и 40-х гг. и воззрениями, высказанными более крайними революционерами в 1793 и 1794 гг.» [Кропоткин 1979: 449].

Уже у якобинцев, не говоря об их наследниках – социалистах и коммунистах – речь идёт о радикальном переустройстве мира на светских началах, несовместимом едва ли не с любыми

---

непонятно почему, охотно принимают те, против кого она обращена. Такой «политической бравадой» было, к примеру, принятие теми, кого так назвали современники (как правило, это «общественное мнение», журнальная пресса, а не противники), кличек «славянофилы», «западники», «народники», в новейшее время – «Яблоко» (в России), «популисты» (в США), «наци» (в Германии), вероятно, «консерваторы» и «либералы» (в Испании, Франции и Англии) и т. д. В данном случае мы имеем дело, видимо, с феноменом своеобразного публичного признания. Давая ироническую кличку, вожди общественного мнения как бы выдают партии сертификат на «свойскость» или, по крайней мере, ордер на какую-то политическую нишу, в которой даже одиозная партия может существовать, не рискуя в любой момент быть объявленной вне закона и уничтоженной.



общественными и политическими учреждениями и сознательно исключая даже фактическую христианскую терпимость. На правом фланге универсалистская идеология закрепляется в той версии национализма, которая стремится подчинить реального индивида гражданского общества, отождествляемого с либеральной карикатурой на него, «органической целостности» легитимной монархии или национального государства, дух которого обычно оказывается воплощённым в той или иной харизматической личности.

Раскол политического общества становится в определённый момент тотальным, не ограничиваясь одной лишь властью. В культуре противостоят друг другу не две концепции государственной власти, а два видения общества. В политике же тотальность конфликта ослабляется доктринёрской непримиримостью многочисленных партий, принадлежащих к каждому из двух больших непримиримых блоков, в отношениях с союзниками и их повседневным прагматизмом в отношениях с врагами. Идеологические партии во Франции чаще всего управляются политическими профессионалами и теоретиками, а не идеологами.

Действительный «синтез» между политическими силами, относящимися к левой субкультуре, и теми, которые ориентируются на Рим и/или на идеи легитимизма, оказывается невозможным. Частные же союзы между клерикалами и антиклерикалами, монархистами и республиканцами стабилизируют политику лишь на время и, в отличие от Англии, не дают возможности сложиться стабильной, преемственной партийной системе, органически включённой в систему власти в целом. Многочисленные французские партии отличаются в этот период крайней зыбкостью, они входят в политическую систему, но сами системы не образуют.

Один из русских публицистов второй четверти XIX века отмечает это обстоятельство: «Названия виг, тори, радикал и все бесчисленные оттенки английских партий выражают не личную особенность человека, как во Франции, и не систему его философского убеждения, как в Германии, но место, которое он занимает в государстве. Англичанин упрям в своём мнении, потому что оно в связи с его общественным положением» [Киреевский 1979: 171].

Французское революционное государство вместе со сплотившимся вокруг него революционным блоком – своего рода «истеблишмент», если воспользоваться англосаксонской категорией – с самого начала создаётся как чисто светское образование. Аналогичная формация в Англии – как конституционное оформление по видимости тех же начал, на которых строилась традиционная монархия, но «рационализированных» и «гарантированных» естественным и положительным правом. Специфически английская доктрина естественного права – во многом реакция на революцию, в которой осмысливаются её итоги во имя утверждения твёрдых основ государственности, во Франции же она – предпосылка будущей революции, её, если можно так выразиться, «проект».

Французская революция раскалывает страну на непримиримые субкультуры, но при этом революционное государство и его бюрократия, сделавшись стержнем национальной жизни, не сталкиваются со сколь-либо существенной оппозицией в недрах гражданского общества. Конечно, оппозиция существует, но она привязана к иерархическим структурам, к клиентельным отношениям, локализована в определённых районах, рассредоточена не только в масштабах всей Франции, но и в пределах департамента, кантона и т. д. И это не результат постепенного естественного развития, а непосредственное следствие насильственного уничтожения в своё время «старого порядка». Традиционалистская организация легитимистского блока отталкивает от него всех потенциальных «монархистов», находящихся вне такой организации, что создаёт, кстати, среду, благоприятную для бонапартизма и других течений, опирающихся не столько на организованную, сколько на рассеянную и пассивную поддержку сторонников.

Впоследствии, после крушения Второй империи и дискредитации бонапартизма как такового, монархисты, в свою очередь, пытаются воспользоваться созданной им «социальной базой» и отчасти преуспевают в этом, хотя им так и не удаётся до конца преодолеть внутреннее противоречие своей позиции. По словам Андре Зигфрида, «агитаторы "Аксъон франсез"<sup>22</sup> в своём стремлении примирить монархию и народ, по-видимому, забывали об одной вещи: полагая себя традиционалистами, они были защитниками

---

22 L'Action Française (Французское Действие (фр.)) – газета консервативного направления во Франции XIX в. – прим. ред.

цезаризма... Можно ли говорить о каких-то роялистских убеждениях в народной массе? Ни в малой степени! Речь может идти разве что об устойчивом влиянии местных социальных авторитетов, способных повести за собой массы» [Siegfried 1913: 450, 454].

В итоге *республиканский блок* власти, какими бы сложными ни были его отношения с идеологизированной *республиканской партией* (в старом, а не сегодняшнем значении, то есть с тенденцией), в конечном счёте лишает монархистов сколько-нибудь заметного влияния в стране и вынужден сам регулировать, согласовывать между собой или подавлять всякие локальные и групповые интересы или движения за счёт дополнительной бюрократизации общества.

Общенациональные партии во Франции, когда они возникают, а происходит это сравнительно поздно, не столько органически интегрируют интересы гражданского общества, сколько пытаются «подстроиться» к ним, вынужденно замутняя изначальную идеологическую чистоту программ и пытаясь вновь и вновь обрести её. К моменту образования таких партий бюрократическая система Франции уже складывается во всех основных чертах, дошедших до нашего времени, и выступает как их своеобразная добыча.

Партийные системы Англии и Франции складываются совершенно по-разному, как бы демонстрируя возможности современной политики в этом отношении. Тем удивительнее черты сходства, которые можно обнаружить при внимательном анализе и которые как бы указывают на существование более глубокого уровня политической реальности, обычно замутняемого повседневной деятельностью партий.

Во-первых, и британская, и французская партийные системы биполярны, при том что в одной двухполюсность представлена тем, что обычно описывают как «двухпартийность», а в другой – системой двух блоков: внутренне более или менее (в зависимости от эпохи) рыхлых, но чётко различающихся ценностными установками. Разделительная линия здесь – как субъективное отношение к роли Церкви в политике, так и религиозная практика [Салмин 1984].

Во-вторых, за пестротой меняющихся политических этикеток во Франции и видимой преемственностью британской партийной политики скрывается одно общее явление: роль партий как структур, формирующих политические поколения и становящихся их жертвами. Между консервативной партией времён лорда Рэндалфа

Черчилля и ею же эпохи сэра Уинстона Черчилля едва ли больше общего, чем между радикалами Жоржа Клемансо и социалистами Леона Блюма.

В-третьих, в политической жизни любой страны, независимо от её партийной системы, существует определённый «стержень», не всегда заметный на первый взгляд. По подсчетам Мориса Дюверже, за два столетия, прошедшие после Великой французской революции, «чисто левые» и «чисто правые» партии в совокупности находились у власти лишь двадцать пять лет: двадцать – правые (режимы Реставрации, Версаля, Виши), и пять – левые (якобинцы, первое правительство II республики в 1848 г., Народный фронт и коммуно-социалистическое правительство в 1981–1984 гг.). Всё остальное время власть, несмотря на резкую поляризацию политической жизни, переходила от одной центристской коалиции к другой, причём весьма высок был процент политиков, годами находившихся при власти – независимо от их часто менявшейся партийной принадлежности [Duverger 1967: 36].

В Британии в последние полтора столетия лишь одна партия – консервативная – может единолично претендовать на роль «стержня» политики. После первой мировой войны она сменила «спарринг-партнёра»: вместо либералов им стали лейбористы. В то же время из 78 лет, когда консерваторы выступали «в паре» с лейбористами, они находились у власти 60.

Создаётся впечатление, что даже в как бы двухпартийных системах одни партии более равны, чем другие, и существуют как «естественные партии власти», «партии истеблишмента», так и «партии-трибуны», функция которых – скорее критиковать и предлагать идеи, чем управлять. И дело не в их абстрактной способности или неспособности к тому или другому, то есть не одной лишь политике или администрации, а в том, какое место принадлежит им в обществе и культуре. Кстати, термин «партия-трибун» – не английского происхождения, а французского и итальянского: так в этих странах называли в 1950–1970-х гг. коммунистические партии. В целом любая партийная система вырастает из своей политики или, если повезёт, удачно прирастает к ней, но нет систем заведомо хороших и заведомо плохих: берущийся судить их лишь по законам политики судит, по известному выражению, *ne supra crepidam* («не выше сапога»).

С учётом сказанного и опыт других систем – от американской «классически-двухпартийной» до различных систем доминирующих партий и даже «однопартийных» – не выглядит уникальным и обособленным: их рассмотрение одновременно в горизонтальном и вертикальном измерениях, а также в контексте становления политики в целом позволяет увидеть гораздо больше, чем при формально-юридическом подходе.

Развиваясь самобытно, политики создают и очень разные типы представительных учреждений, и разные механизмы политического представительства. Здесь необходимо остановиться на нескольких существенных моментах.

Вообще следует чётко различать *идею представительства*, в том числе выборного, *всеобщие выборы* и *принцип власти*, избранной на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования (знаменитая «четырёххвостка»). *Идея представительства*, «предстательства» перед властью стара, как сама власть. Едва ли моложе и идея «представительного собрания» (совета старейшин, княжеского или королевского совета духовных и светских «владык» или «равных»: lords, pairs). Строго говоря, такие собрания, требовавшие обычно *согласия* членов для решения, были не «представительными» (representative), а «присутственными» (presentative), поскольку лорды или пэры являли в них харизму собственной власти, а не представляли в одиночку многих подобных им.

Трудно в точности сказать, когда в новоевропейской истории возникает такой институт, как собственно представительное собрание в современном смысле с имманентным ему принципом большинства; некоторые исследователи полагают, что в сферу политики он вошёл благодаря практике церковных советов, в свою очередь, позаимствовавших его из обычаев и уставов средневековых корпораций [Gierke 1900: 64].

Весьма стар и институт всеобщих выборов. Можно предполагать, что в Англии он восходит если не к 1275 г., как считают некоторые исследователи, то, во всяком случае, к 1295 г. (избрание «коммонеров» в палату общин). Во Франции по сути всеобщими (для мужчин старше 25 лет) были выборы Генеральных штатов 1614 г. и, естественно, 1789 г., поскольку при их проведении

использовалась (не без некоторой, видимо, стилизации) процедура 1614 г.

Иное дело – принцип избранной всем народом и ответственной перед ним законодательной власти.

Надо различать два вида парламентов, сходно возникших, прошедших разный путь и пришедших почти к одинаковому результату в силу преобладания в длительной перспективе общецивилизационной логики над особенностями развития отдельных политий. Вновь возьмём в качестве примера опыт Англии и Франции. В обеих странах коллегиальные органы, состоящие из короля, духовных и светских владык и «коммонеров» (депутатов от третьего сословия), *представляющих* равных себе, возникают примерно в одно и то же время: в 1295 г. в Англии и в 1302 г. – во Франции. В них проявляется, очевидно, тенденция некоторого «оплотнения» и внутренней дифференциации политики в двуединстве политики-экклесии. Это выражается в некоторой институционализации и рутинизации отношений между королём и всеми сословиями, оформившимися как политические корпуса.

Оба парламента, каждый из которых по замыслу является «собором» рождающейся нации (в том же смысле, в каком в Московском государстве говорили о Земском соборе), то есть идеальной и властной ипостасью политики-экклесии своего народа, претерпевают многообразные испытания. В ходе многовековой истории английский парламент усиливается, превращаясь в постоянный, более или менее регулярно собираемый институт. Французские Генеральные штаты, с самого начала не имевшие самостоятельности и полномочий английского собрания, деградируют: созданные в 1614 г. по отдельному не очень важному поводу, они затем не собираются 175 лет, чтобы, собравшись, уничтожить – уже навсегда – саму так и не развившуюся во Франции форму «собора нации». Оба парламента знают «бунты» представителей третьего сословия: собственно, не только против короля, но и против той органической, но омертвевшей формы, частью которой являлся их корпус<sup>23</sup>.

---

23 Акт парламента, принятый в 1649 г. после казни Карла I Стюарта, гласил: «Упразднением должности короля (Kingly office), предусмотренным настоящим Актом, открывается для этой нации наиудачнейший путь (если будет на то воля Божья), чтобы вернуться к справедливому и древнему праву управляться собственными Представителями или национальными собраниями в совете, время от времени избираемыми и получающими для этого доверие от народа: так постановлено и провозглашено Общинами, собранными в

Английский парламент восстанавливает после 1660 г. первоначальное единство своей формы, вступая в период сложного и длительного «выяснения отношений» с королевской властью не столько в принципе, сколько по конкретным поводам. Во Франции идея парламента после революции начинает ассоциироваться либо с Национальным собранием, либо, в эпоху Реставрации и отчасти Июльской монархии, с искусственно сконструированным из обломков «старого порядка» устройством (король – пэры – депутаты) на английский лад, условием жизнеспособности которого (но только *ex officio dum officio*: в период легислатуры и в самой палате) было такое ограничение – на основе цензов – корпуса избирателей, какого не знали не только революция, но и «старый порядок»<sup>24</sup>!

Крайне любопытно и существенно, что даже перспектива постепенного фактического превращения *парламента* в *национальное собрание* вызывает у многих стремление сдержать его: в частности, путём сознательного ограничения электората. В этом смысле характерен пример Джона Стюарта Милля, который, исходя из чисто либеральных посылок (стремление придать устойчивость идеальной, с его точки зрения, форме политического устройства: представительной системе), доказывает необходимость не только разнообразных цензов, но даже множественного вотума<sup>25</sup> для представителей интеллектуальных классов [Mill 1958]<sup>26</sup>.

Скрытый, а иногда и явный, но, в общем, всегда бесплодный «антиохлократизм», выражающийся в попытках ограничить то, что по определению ограничить нельзя, становится тенью современной парламентской демократии, её фольклором, формируя особый тип парламентского политика-«антипарламентариста». Характерная фигура – радикал Жорж Клемансо, начинавший карьеру как последовательный демократ, а в конце её прославившийся злыми инвективами в адрес демократии, парламента, избирателей, «народа». Так, одной поборнице равноправия полов, спросившей его

---

Парламенте». Во французской истории подобная «декларация» растянулась на три с половиной года и состоит из двух частей: объявления представителями третьего сословия себя «национальным собранием» и декрета Конвента о ликвидации королевской власти.

24 Из 7,5-8 млн потенциальных избирателей-мужчин в период Реставрации имели право голоса от 20 до 100 тыс., при Луи-Филиппе – 120-240 тыс. Это ограничение и было, во всяком случае, в 1848 г., непосредственной причиной, окончательно погубившей королевскую власть.

25 Множественный вотум – предоставление законом для отдельных категорий голосующих нескольких голосов на одного субъекта.

26 Множественный вотум для собственников недвижимости, дававший им право голосовать и по месту жительства, и по месту нахождения имущества, был отменён в Англии лишь в 1948 г.

в 1913 г., стоит ли он за предоставление женщинам избирательного права, он «невозмутимо ответил, что, по его мнению, гораздо лучше осуществить равноправие, отняв избирательное право и у большинства мужчин» [Алданов 1922: 185].

Из опыта революций во Франции возникает влиятельная идеология, в которой идея национального собрания связывается с унитарным принципом и с идеей прямого представительства. Общество граждан выступает как нормативный континуум, непосредственно делегирующий власть главе государства и национальному собранию. Франция – одна из немногих стран Запада, где идея верхней палаты парламента, по сути, никогда не имела самодовлеющего значения, а сама эта верхняя палата всегда была слабым, более формальным, чем действенным (пользующимся фактически лишь правом отлагательного вето), «почётным» учреждением<sup>27</sup>.

Гетерогенность нации всегда, разумеется, существовала во Франции в действительной жизни, в том, что французы называют *paus reel*<sup>28</sup>, но обычно не переходила на уровень политической и правовой концепции (*paus legal*), признававшей нацию гомогенной. В связи с этим во Франции специфическое значение имел и имеет пост главы государства (в те периоды, когда он избирался всеобщим голосованием). По выражению Маркса, «выборное Национальное собрание связано с нацией метафизически, выборный же президент связан с ней лично. Национальное собрание, правда, отображает в лице своих отдельных представителей многообразные стороны национального духа, зато в президенте национальный дух является во плоти. По сравнению с Национальным собранием президент является носителем своего рода божественного права: он – правитель народной милостью» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 8: 134].

Проблема состоит ещё и в том, что и исполнительная, и законодательная власть во Франции всегда выражали лишь два различных модуса как бы однородной нации. В результате этого депутаты Национального собрания представляли в нём в первую очередь узкие, чисто местные (не объединённые на промежуточном

---

<sup>27</sup> Характерно в этом смысле высказывание того же Клемансо: «На протяжении части своей жизни я, исходя скорее из теоретических предпосылок, нежели из реальной действительности, верил в единую палату, прямо выражающую волю народа. Теперь я от этого взгляда отказался. События научили меня, что необходимо предоставить народу время для раздумья. Время для раздумья - это и есть сенат. Так, старый враг сената, ныне я, как бы в наказание, стал сенатором» [Прицкер 1983: 183].

<sup>28</sup> Реальная страна (фр.) – прим. ред.



уровне какой-либо организующей общностью) интересы, что способствовало, между прочим, довольно резкому и отчётливому воплощению в деятельности партий универсализированных интересов, когда таковые оформились в национальном масштабе: социальных, классовых, религиозных и антиклерикальных – не осложнённых интересами историческими, локальными и другими идеологическими. Характерно, к примеру, что политические организации в рабочей среде (как представители «общего» интереса рабочих) возникли во Франции до образования крупных профсоюзных объединений, выражающих их частные интересы.

Сочетание значительной пестроты местных условий и интересов с преобладанием идеи гомогенности нации выглядит, конечно, очень контрастным. В то же время оно, в сущности, не более парадоксально, чем сама идея всеобщего избирательного права, основанная на допущении полного равенства индивидов, в действительности настолько различных, насколько один человек может отличаться от другого. Более того, обе идеи имеют общую природу (оттого они и связаны так тесно во французской политической культуре): их возникновение возможно при основательном искоренении всех «посредствующих структур», произведённом революцией. Характерная «беззащитность» в этой ситуации «атомов» политики – местных интересов в первом случае, индивидуальных или групповых (малые естественные группы) прав и интересов во втором – перед абсолютным авторитетом власти способствует образованию «посредствующих структур» нового типа – идеологических и психологических механизмов классовой самоидентификации на социальном уровне, идеологизированных партий – на политическом. Своеобразный идеологический тон французской политики, тенденция к политизации и «национализации» всякого конфликта – во многом следствие этого обстоятельства. Во Франции структуры именно такого рода постепенно начинают заполнять пространство между гражданским обществом и центральной властью, оставшееся незанятым её продолжением – бюрократией.

И всё это не новейший, дополнительный «недостаток» политического устройства нации-республики, каждые пять лет отдающей бразды правления Национальному собранию (как бы оно ни называлось в той или иной конституции), а оборотная её сторона и

в немалой степени механизм, необходимый для сохранения не только целостности и работоспособности государства, но и частных, а также политических свобод граждан. Выше мы пытались показать, что английская конституция не подошла Франции, пережившей революцию. Остаётся признать, что ей удалось не так уж мало сделать из того «наличного материала», который у неё был.

В совершенно ином плане, но в связи со всем сказанным, следует, видимо, рассматривать и проекты реформы французского сената (при режиме Виши и в 1969 г.). В этих попытках заметно стремление, с одной стороны, закрепить реальное положение (то есть обеспечить представительство чисто социальных, «корпоративных» интересов, естественно, оформив его так, чтобы оно в первую очередь отвечало интересам власти)<sup>29</sup>, с другой – воссоздать (или создать заново) представительство региональных интересов. Авторы этих проектов, вполне сознавая объективную потребность в «посредствующих структурах» во французском политическом обществе, стремились не уничтожить структуры нового типа, но, сохранив их, в какой-то мере изменить баланс в пользу ещё более новых, но иных по природе.

Необходимо отметить и ещё одну специфическую особенность политической культуры Франции, в конечном счёте тоже связанную с её политической самоорганизацией в качестве нации-республики: то, что можно назвать некоторой гипертрофией принципа большинства. *Большинство, консенсус и жребий* – три универсальных принципа, используемых поодиночке или в сочетаниях, иногда сложных и даже причудливых, при определении того, кто должен занять какую-то должность, или при выборе одного решения из нескольких возможных. *Большинство* при этом (простое или квалифицированное, относительное или абсолютное, выявляемое в один тур голосования или в несколько) – обычная, не вызывающая сейчас особых споров основа выбора при голосовании большого числа людей.

Тем не менее, опыт той же Франции позволяет заметить некоторые несамоочевидные вещи, связанные с этой категорией. Интересно сравнить роли, которые играют во Франции два принципа: *большинства* и *права*. Здесь, по словам известных

---

<sup>29</sup> Подобно тому, как отвечало интересам власти преобладание в сенате III Республики, Совете Республики в 1948-1958 гг. и сенате V Республики представителей аграрных коммун [Duverger 1974: 17, 20].

государствоведов, «с давних пор конституция рассматривается как механизм, как правило игры. Она должна обеспечивать функционирование политической системы, а не основывать её, поскольку реальная основа не право, а воля большинства. В США, в Германии, если закон, за который проголосовало большинство, противоречит конституции, то суд объявляет его неконституционным, и он аннулируется *ipso facto*. В IV Республике предусматривалось такого рода противоречие (хотя и в неприменимой в принципе декларации прав человека, содержащейся в преамбуле). При этом ст. 91 Конституции 1946 г. основывалась на противоположном принципе, а именно превосходства воли большинства над конституцией: Конституционный комитет изучает, требуют ли законы, принятые Национальным собранием, пересмотра Конституции» [Goguel, Grosser 1970: 297-298].

В Конституции V Республики предполагается, что «органические законы до их обнародования и регламенты палат парламента до их применения должны быть представлены Конституционному совету, который высказывается об их соответствии конституции» (ст. 61). То же относится и к обычным законам, если они передаются в Конституционный совет (ст. 61 в редакции конституционного закона от 29 октября 1974 г.) [Конституции 1982:104].

При этом, однако, решения Президента Республики не подпадают под компетенцию Совета, при том что сам «Президент Республики следит за соблюдением Конституции» (ст. 5), [Конституции 1982: 90], что умаляет значимость Конституционного совета и работает в пользу традиционного истолкования. К тому же 6 ноября 1962 г. сам Совет провозгласил себя некомпетентным в отношении законов, которые, «будучи принятыми народом в ходе референдума, являются прямым выражением национального суверенитета» [Goguel, Grosser 1970: 298].

Представляется, что столь решительно провозглашавшееся правомочие большинства, всегда вызывавшее ужас у сторонников правового государства в строгом значении этого термина (и ответственное за невероятное, если сравнивать с другими ведущими демократиями, число конституционных актов, создававшихся в принципе «навсегда» – их полтора десятка), имеет всё-таки некоторое отношение к содержанию преамбулы Конституции 1946 г. Эта

преамбула (ссылка на неё содержится и в преамбуле Конституции 1958 г., что делает её действующей правовой нормой) включает в себя список важнейших «экономических, политических и социальных принципов», предваряемый отсылкой «к правам и свободам человека и гражданина, освящённым Декларацией прав 1789 г.».

Что же касается этой знаменитой Декларации, то она содержит в себе перечень «естественных» прав человека, признанных таковыми всей рационалистической культурой Европы и ею гарантируемых. Дух французской конституции, очевидно, молчаливо предполагает, что «народ», представленный его большинством, в принципе не может возвести в закон нечто такое, что противоречило бы его «естественным» правам. Для ограждения же его от случайных увлечений существует сенат и множество других институциональных «ловушек», составляющих, собственно, реальное содержание конституции нации-республики. Можно бесконечно спорить о том, что лучше вообще: режим большинства или режим правового государства; нельзя не признать, однако, что хорошо составленная конституция способна предохранить государство от многих опасностей – реальных и мнимых, – имманентных правлению большинства.

Дискуссии по поводу двух источников легитимности между тем мешают иногда видеть то, что бросает вызов им обоим и что с особенной ясностью проявилось во Франции – в силу, быть может, превратностей её истории, а не особенностей политического режима. Речь идёт о ситуациях, когда нация в целом или её часть вынуждены делать выбор между законом (обеспеченным большинством или конституционным правом) и моралью<sup>30</sup>.

Такая ситуация сложилась в 1940 г., когда референдум дал подавляющее большинство маршалу Петэну и когда только обращение к незаконным действиям могло позволить сохранить «то, что считается целью политического общества: материальное могущество нации, уважение определённых моральных принципов – на уровне индивида, нации или международного сообщества» [Goguel, Grosser 1970: 301]. Лето 1940 г. во Франции яснее, возможно, чем где-либо и когда-либо, показало, что современное государство – и не обязательно мажоритарное – живёт отнюдь не

---

30 Испанские правоведы, обосновывавшие после смерти генералиссимуса Франко отмену «неотменимых» органических статутов, апеллировали к различению «легальности» и «легитимности».

только в правовом континууме, но и в сложном, искривлённом правовом, моральном, духовном пространстве, в котором возможны не частые, но от этого не менее трагичные «перерывы постепенности». Такие перерывы были, конечно, и в христианских, и в любых религиозных государствах, в которых, однако, выше и глубже этого пространства было единство ткани религиозной культуры, признававшей их неизбежность. Современное светское государство действует в культурном поле, исключая их возможность: именно поэтому, наверное, не сама ткань, а разрывы в ней и составляют наиболее привлекательный пласт современной истории, её самые героические и трагические страницы.

Вторичная рационализация тех обстоятельств, с которыми исторически связано возникновение двух исторических форм современного парламента, приводит к возникновению ещё одного *рационального мифа*: видения развития парламентаризма как такового, интерпретируемого если не как универсальное, то как общезападное явление. И это видение имеет сегодня в известном смысле *нормативное* значение как для старых парламентских демократий, так и для тех стран, которые только обзаводятся представительными учреждениями.

В соответствии с этим видением *современный парламента* складывается не сразу, он – результат трёх последовательных открытий, сделанных известными или безымянными авторами с разрывом в несколько столетий. Значение открытий в политике действительно обычно недооценивают, хотя нет никаких оснований считать, что они делаются в этой области реже, чем в других.

Первое открытие, относящееся к парламента – это, собственно, само изобретение парламента, то есть соединение идей представительства и законодательства в одном постоянно действующем институте. Сегодня не так легко представить себе, что эти идеи вовсе не обязательно должны интегрироваться и большую часть писаной истории просуществовали, находясь в более или менее случайных отношениях друг с другом.

Второе открытие известно любому школьнику. Именно «открытием» назвал в своё время Александр Гамильтон идею разделения властей в версии Монтескьё. «Политическая наука, – писал он, – как и большинство других наук, очень продвинулась вперёд. Сегодня хорошо понимают эффективность различных

принципов, которые были или вовсе неизвестны древним, или недостаточно ими сознавались. Упорядоченное распределение власти по определённым отделам, введение противовесов и сдержек при законотворчестве, учреждение судов, в которых судьи исполняют обязанности, пока их поведение безупречно, представительство народа в законодательном органе через избранных ими самими депутатов – всё это или целиком новые открытия, или же основное для их совершенства было сделано в наше время» [The Federalist Papers 1961: 72], хотя, как мы пытались показать, реальная история этой идеи была не очень простой.

Третье открытие вновь анонимно. Это переход парламента из проективного в реактивный режим повседневной работы. Проективно, то есть навязывая свою идеологию и свою волю обществу, действовали английский парламент времён Кромвеля, американский Континентальный Конгресс, безусловно – французский Конвент. Большинство сегодняшних парламентов чаще всего действует реактивно, то есть с бóльшим или меньшим энтузиазмом откликаясь на текущие потребности общества (чьим поверенным в делах всё чаще выступает правительство) в законотворчестве, охотно контролируя исполнительную власть, а также выступая в роли главного общенационального политического клуба.

В перечисленных открытиях есть какая-то маятникообразная логика, когда последующее как бы смягчает крайности, производимые предыдущим, и не исключено, что очередным станет изобретение универсального алгоритма, совмещающего проективный и реактивный режимы неким полезным для общества образом.

В связи с переосмыслением функций парламентов общая эволюция представительных учреждений в последние десятилетия была троякой.

Во-первых, уменьшалось значение верхних – наследственных и/или почётных палат, а их главной задачей в большинстве случаев становилось пользование правом отлагательного вето.

Во-вторых, нижние, народные палаты всё меньше ориентировались на верхние в их первоначальном виде.

В-третьих, с точки зрения карьеры политика, границы между ветвями власти всё больше размывались.

Разделение властей – важнейшая догма политической теории, но отнюдь не жизненный принцип отдельного политика. Более того,

не кто иной, как парламентарий, по крайней мере современный, бросает серьезнейший вызов самому классическому принципу разделения властей. Делает он это, правда не лично (лично он вообще мало что может), а на групповой основе. Именно на групповой, а не на институциональной, что не то же самое. Если быть вполне точным – на партийной и фракционной. Относительно позднее выделение собственно партий и их выход на авансцену порождают, в частности, и современный тип «политического существа», в том числе – в его депутатской ипостаси.

Классическая теория разделения властей, созданная в допартийную эпоху, не предполагала, что парламент, правительство, пост главы государства и даже высшие судебные должности могут контролироваться в некоторых случаях одной и той же партией. Сегодня такие ситуации не только реальны, но даже являются скорее правилом, чем исключением. Чтобы компенсировать связанные с ними неизбежные и очевидные издержки, были созданы более тонкие механизмы собственно политического и квазиполитического регулирования: идеология и практика «сдержек и противовесов», контрвластей, разделения властей по вертикали, контроля со стороны mass-media, возник институт омбудсмана и кое-что ещё. Современная полития – многомерный, сложно устроенный саморегулирующийся организм.

Ещё вопрос, кстати говоря, могла бы действовать на практике классическая концепция разделения властей и не спасло ли её «партийное перерождение» (и последующая реакция на него) от превращения ветвей власти в центры притяжения различных сил и интересов. Другими словами – от трансформации самих государственных институтов в своего рода партии, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как бы, однако, ни складывалась история политических институтов вообще, сегодняшней депутат живёт в основном в мире политических ассоциаций, то есть добровольных объединений. В связи с эволюцией парламента, и особенно, развитием партий, политика всё больше профессионализировалась. Сегодня в большинстве стран трудно отыскать помещика, служащего где-то или заседающего в парламенте в силу привилегии или по семейной традиции. Но именно политика становилась профессией и призванием, а не депутатство как таковое.

«Профессиональный парламент» (как антоним не то непрофессионального парламента, не то законодательного собрания людей, занятых законотворчеством по совместительству), может быть, и существует в природе, но «профессиональный депутат» – фигура полумифическая и даже абсурдная. Так, в сущности, и должно быть, ибо это *contradictio in adjecto*<sup>31</sup>.

Сегодня власть депутата – а любой политик или государственный муж есть прежде всего носитель хотя бы потенциальной, предполагаемой власти – в основном связана не с парламентом. Влиятельный и/или уважаемый политик редко обязан своим влиянием и популярности исключительно парламентской деятельности.

Времена Шеридана и Байрона давно в прошлом и, кажется, не только в этом отношении. Да и раньше роль парламентской трибуны в жизни публичной личности, наверное, несколько преувеличивалась. Тот же Шеридан был, в конце концов, не только автором лучшей (по мнению Байрона) парламентской речи, а известнейший деятель Конвента, Максимилиан Робеспьер, вообще прославился не благодаря речам.

За некоторыми очевидными исключениями (руководящие должности в палатах и некоторых комитетах и комиссиях, распоряжающихся деньгами, безопасностью и репутациями), парламентский мандат сам по себе почти не добавляет власти. Парламент, однако, увеличивает возможности её приобретения или мультипликации где-то на стороне. В этом смысле он почти ничем не отличается от закрытого клуба. Так называемый *лоббизм* – одна из сфер, в которых и отдельный депутат иногда может что-то значить.

В целом от десятилетия к десятилетию депутатство всё меньше напоминало судьбу и всё больше – роль. Что ещё важнее – роль довольно скромную, но такую, умелое исполнение которой открывало перед актёром довольно заманчивые перспективы, позволяя и самому институту парламентаризма действовать без потрясений, характерных для его ранней истории, и без проблем, связанных с принципиальным неприятием его именно как государственного института.

Проблема всеобщего избирательного права (*suffrage universel*) имеет во Франции особый смысл и в целом гораздо большее значение,

---

31 Противоречие в определениях (лат.) – прим.ред.



чем можно заключить, исходя из опыта других стран. Идея всеобщего избирательного права – одна из составляющих идеи нации-республики («нация – это каждодневный плебисцит», по знаменитому выражению Эрнеста Ренана [Renan 1882: 271], и она, как и другие её составляющие, тоже может абстрагироваться от реальной нации и реальной республики и противопоставляться обеим как универсальная норма. Это объясняет очень раннее выдвижение идеи его введения «в полном объёме», а также то, почему она возникает как бы вне связи с реальным политическим процессом. Впоследствии, однако, она поддерживается и реакцией части гражданского общества как на собственную политическую неоднородность, так и на отдалённость от центров власти.

Традиционная слабость классических промежуточных властей в сочетании с тем фактом, что префектов и супрефектов назначает правительство, находящееся в данный момент у власти в Париже, приводят к акцентированию роли всеобщих выборов вообще и избирательного механизма в частности. Связь идеи *suffrage universel* как с «революционным» представлением об идеальной республике, так и с послереволюционной реакцией на него ведёт к некоторой её «романтизации», незнакомой, пожалуй, англосаксонским и скандинавским странам.

Было бы ошибкой считать, что идея *suffrage universel* возникла во Франции в самих «народных массах», лишённых права голоса. В конце 1789 г. эти массы никак не реагируют на закон, устанавливающий ограничение избирательного права и лишаящий возможности голосовать около трети потенциальных избирателей. Более того, даже после 10 августа 1792 г., уничтожившего монархию, «когда для выборов в Конвент было установлено всеобщее избирательное право, в них принимала участие лишь пятая часть всех избирателей... Если после 10 августа было установлено всеобщее избирательное право, то это произошло совсем не потому, что народ более энергично требовал предоставления ему права голоса, а потому, что его революционная роль в событиях 20 июня и 10 августа (в Париже – А.С.)<sup>32</sup> сделала его решающей силой, и вполне естественно было превратить эту реальную силу в силу законную... Итак, без всякой экономической эволюции, которая привела бы к изменению классовых отношений, только в силу политического и национального

---

32 Имеются в виду два восстания в Париже. Второе из них привело к падению монархии.

движения Революция перешла от ограниченного избирательного права, установленного Учредительным собранием, к всеобщему избирательному праву, установленному при выборах в Конвент» [Жорес 1977. Ч. 1: 491].

Сходная ситуация возникает и при вторичном (на этот раз окончательном) установлении всеобщего избирательного права после февральской революции 1848 г. Хотя в данном случае его инициатором выступило такое влиятельное меньшинство, каким являлись парижские рабочие, революционное движение в целом добивалось лишь снижения весьма высокого имущественного ценза. Однако «с провозглашением республики на основе всеобщего избирательного права исчезло и самое воспоминание о тех ограниченных целях и мотивах, которые толкнули буржуазию на февральскую революцию» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 7: 14].

Таким образом, уже в момент зарождения или возрождения принципа *suffrage universel* ему сопутствует противоречие между всеобщим голосованием и массовым революционным действием, которое является важнейшей чертой и, если угодно, болезнью политической жизни Франции. Народное движение не генерировало принцип всеобщего избирательного права и не отстаивало его на первых порах: он был провозглашён из общих соображений и завоёван влиятельным меньшинством, сумевшим окончательно политически утвердить его (в тогдашнем понимании его объёма) лишь после февральской революции 1848 г.

Особой символической роли всеобщего избирательного права во Франции не мешает то, что именно здесь раньше, чем где бы то ни было, а также чаще и скандальнее, оно демонстрировало свои тёмные стороны: в частности – способность выступить в роли «соучастника» узурпации власти, как это случилось в 1851 г. Затем, в 1852–1860 гг., всеобщее избирательное право во Франции приобретает «дурную репутацию вследствие того, что им злоупотребляло бонапартистское правительство» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 22: 539]. В этот период оно превращается, по выражению П. В. Анненкова, в «грубый и ничего не выражающий вопль толпы, которая постоянно возвращает вопрошателю... слова, брошенные им в его среду» [Анненков 1928: 296–297]. Становится очевидным, что оно «не обладало той магической силой, которую приписывали ему республиканцы старого покроя. Во всей Франции или по крайней

мере в большинстве французов они видели *citoyens* с одинаковыми интересами, одинаковыми взглядами т. д. Это был у них своего рода *культ народа*. Но выборы вместо их *воображаемого* народа показали *действительный* народ... Всеобщее избирательное право не было той волшебной палочкой, какой его считали республиканские простаки» [Маркс, Энгельс 1980. Т. 7: 44].

Приведённые высказывания относятся к разному времени и отражают очень разные политические позиции: кризис идеи *suffrage universel* в 1848–1870 гг. был общепризнанным фактом. То, что многократно и разнообразно дискредитированные всеобщие выборы и после этого оставались, несмотря ни на что, для нескольких поколений французов не просто привычным политическим механизмом, а эмоционально воспринимаемой, оспариваемой меньшинством и страстно защищаемой большинством политической ценностью, свидетельствует о глубокой внутренней потребности в них.

Суть проблемы даже не в том, что их ничем нельзя было заменить, а в том, что их практически ничем нельзя было дополнить, несмотря на очевидные для всех недостатки такой системы. История показала, что результаты всеобщих выборов время от времени отменялись конституционным или неконституционным путём; сами выборы не давали гарантии от такой «отмены». Несмотря на это, они во многих ситуациях оставались единственным реальным способом оказать воздействие на центральную власть, и это не уменьшало, а как раз увеличивало их значение.

Принцип всеобщего избирательного права, заложенный, как казалось, в самое основание первой республики, в последующий период, когда он не применялся (он был отменён уже в 1795 г. Конституцией 3го года, в которой вводился ценз – уплата подушной или поземельной подати), не мог не превратиться едва ли в не главный символ нации-республики. Показательно, что его восстановление декларирует в период «ста дней» Наполеон («Дополнительный акт к Конституции Империи»).

В годы Реставрации и Июльской монархии его идея остаётся достоянием большинства республиканцев. Идеализации всеобщего избирательного права не мешает даже опыт бонапартизма в 1851–1870 гг. Отныне всякие попытки не только сократить число избирателей, но и хотя бы задержать максимальное расширение

избирательного корпуса рассматриваются левым крылом как покушение на сам принцип республиканского устройства. Всякое же расширение корпуса избирателей истолковывается не как предоставление народу новых прав, а как завоевание естественных. С этой точки зрения предоставление в 1944 г. права голоса женщинам, а в 1974 г. молодёжи с 18 лет – всего лишь возвращение к чистой идее всеобщего избирательного права. Такое ощущение всеобщего избирательного права не может не быть заразительным: в той или иной степени оно влияет на установки республиканцев и политических прогрессистов по всей Европе.

Именно опыт Франции доказал, между тем, что само по себе изменение объёма электората, даже существенное, если оно происходит в спокойное время, а не в период революции, не только не дестабилизирует политическую жизнь, но даже серьёзно не влияет на соотношение сил основных партий. С другой стороны, чисто арифметическое расширение корпуса избирателей, если оно не связано с какой-то символически обособленной группой, особым «сегментом» общества («неимущие», «женщины», «молодёжь»), не имеет интегрирующего значения, ради которого, собственно, оно и осуществляется. Это доказывается опытом как Реставрации, так и Июльской монархии, когда электорат всё же расширился, но это «ползучее» расширение никем не было замечено и никого не удовлетворило.

Особая, более чем функциональная роль всеобщего избирательного права во французской политической культуре, специфическая болезненность вопроса об эффективном представительстве перед «всесильной» центральной властью, а также ранняя идеологизация новых «посредствующих структур» привели к тому, что особую остроту приобрёл и вопрос об избирательной системе. Ни одна страна Запада не меняла избирательные системы так часто, как Франция. Вообще эволюция избирательных систем в этой стране создаёт ощущение какого-то постоянного и притом возвращающегося «на круги своя» эксперимента с представительством.

После введения всеобщего избирательного права в 1848 г. дела обстояли следующим образом: в 1852–1871, 1875–1885, 1889–1919, 1927–1945 гг. и с 1958 г. во Франции действовала мажоритарная униноминальная система с голосованием в два тура, когда для

победы в первом туре необходимо абсолютное большинство, а во втором – относительное; в 1848–1852 и 1871–1873 гг. – система голосования в два тура в округах с несколькими депутатами, при которой для избрания необходимо относительное большинство, не меньшее определённого уровня, требующего проведения второго тура; в 1873–1875 и 1885–1889 гг. – система голосования в два тура в округах с несколькими депутатами, когда для избрания в первом туре необходимо абсолютное большинство, а во втором – относительное. В 1919–1927 и 1951–1958 гг. – сложная мажоритарно-пропорциональная система, при которой избранными по многомандатному округу считались все кандидаты списка, получившего абсолютное большинство голосов. В случае, если ни один из списков не получал абсолютного большинства, распределение депутатских мест производилось на основе принципа пропорционального представительства. В 1945–1951 гг. и в 1986 г. – пропорциональная система [Carstairs 1980: 225–231].

Отметим, что всё это время в Великобритании, как и в США, действовала одна и та же система: весьма небезупречная, но экономная – мажоритарная с голосованием в один тур. Создаётся впечатление, что в целом для англосаксонских стран неоспариваемость правил игры гораздо важнее, чем их чистота и универсальность.

Несмотря на внешнюю хаотичность, в эволюции французских избирательных систем можно заметить определённую закономерность. Избирательная система как бы постоянно колеблется между двумя полярными формами: одна из них (униноминальная мажоритарная система) обеспечивает представительство местных интересов максимально персонифицированно; другая (пропорциональная, в чистом виде действовала лишь в течение 7 лет из 138) – преимущественное представительство реальных и потенциальных «посредствующих структур», в том числе рассредоточенных меньшинств. Другие виды систем являются попыткой так или иначе совместить эти полюса. Следует особо подчеркнуть, что предпочтение, отдаваемое той или иной системе, вопреки распространённому мнению, не связано непосредственно с политической ориентацией. Левые и некоторые правые не раз оказывались союзниками в борьбе за пропорциональное представительство [Дюкло 1974: 542].

Поддержка той или иной партией конкретной системы вызывается обычно практическими соображениями, сквозь которые просвечивают – в длительной перспективе – структурные основы политической культуры [Taylor, Johnson 1979: 486]. Несколько упрощая, можно предположить, что споры о лучшей избирательной системе прекратятся во Франции не в результате победы какой-то партии и какого-то проекта, а в том случае, если сам вопрос о замене одной системы другой перестанет иметь принципиальное значение. Возможно, это уже происходит. А это значит, что исчезает, «затягивается» двухвековой давности разрыв между гражданским обществом и центральной властью, между страной и нацией, между Францией и республикой.

Как и в случае с парламентом, проблема избирательной системы сегодня повсеместно инструментализируется, она рассматривается в контексте не соответствия или несоответствия той или иной идеальной модели политики, а, скорее, очередного рационального мифа, который можно свести к медицинскому императиву «не навреди». Существует несколько общих принципов, которые, как представляется, помогают выработать подход к избирательному законодательству.

Первый: идеальной избирательной системы в природе не существует. Всякая система обладает своими конкретными недостатками и достоинствами, причём в зависимости от ситуации эти недостатки и достоинства могут меняться местами. Если угодно, все избирательные системы более или менее неприемлемы.

Второй: одна и та же система может действовать очень по-разному в разных политических культурах и в разных ситуациях. Нет такой последовательности событий, которые с логической неизбежностью наступали бы в результате применения той или иной системы независимо от времени и места действия. В Великобритании, в США и в Индии действует, по большому счёту, одна и та же избирательная система (мажоритарная, с голосованием в один тур по одномандатным округам), но мы видим очень разные результаты, а кроме того – и очень разные партийные структуры, сформированные в процессе её применения. Но верно и обратное: к сходным результатам в одной и той же стране может приводить действие совершенно разных избирательных систем, воспринимаемых иногда даже в качестве альтернативных и

взаимоисключающих. Бывают ситуации, когда политический итог выборов вообще не зависит от избирательной системы. В конце 1950-х гг. политическому кризису во Франции способствовала пропорциональная система с голосованием по спискам. Однако позднее, когда в 1986 г. пропорциональная система была восстановлена, а в 1988 г. вновь отменена, оказалось, что тип системы стал уже фактором достаточно несущественным. Во всяком случае, его влияние на результаты выборов не затрагивало интересы основных политических сил. А в 1993 г. к некоторым дестабилизирующим последствиям привело уже возвращение к мажоритарной системе с голосованием в два тура.

Вообще надо отметить, что некоторые представления, заимствованные из классической политологической литературы, были сформулированы в очень специфических, ныне уже не существующих условиях «холодной войны», когда по ряду причин, выходящих за рамки действия собственно избирательных систем, из политической жизни многих стран была фактически исключена крайне правая тенденция. Она была как бы цензурирована. Затем, несколько позже, почти повсюду в Западной Европе – где мягко, где весьма жёстко – последовательно изолировалась крайне левая тенденция, если олицетворением таковой считать коммунистов. Иными словами, представления о влиянии избирательных систем на самом деле черпались во многом из опыта их воздействия на *политический центр* (в широком, конечно, смысле). Большинству европейских избирательных систем по сути были созданы тепличные условия. Стоило условиям измениться, как те же системы стали приводить к непривычным результатам.

Третий принцип, связанный с обстоятельством, о котором часто забывают: избирательные системы вполне поддаются комбинированию. Речь в данном случае идёт не только о так называемых смешанных системах (например – мажоритарно-пропорциональных). Можно и иногда нужно использовать разные избирательные системы для выборов разных уровней: местных, национальных, президентских (там, где они есть) и т. д. Такое комбинирование само может способствовать стабилизации или дестабилизации политической системы.

Четвёртый принцип: при прочих равных без крайней необходимости лучше не менять существующую систему, потому что

инерция сама по себе является положительным фактором; однако в случае крайней необходимости именно радикальная смена избирательной системы может оказаться весьма полезной.

Существует несколько требований, которым избирательная система должна удовлетворять a priori.

1. Избирательная система, независимо от всех прочих требований, должна быть достаточно простой и убедительной. Настолько убедительной, чтобы в её пользу нетрудно было привести развёрнутую систему аргументов. При этом, конечно, можно не сомневаться, что у её противников всегда найдутся аргументы в пользу других систем. Иными словами, система должна быть так или иначе «встроена» в политическую культуру, в историю страны, но и в историю идеальной, нормативной политики – тоже. Такая идеальная политика – некая интеллектуальная, теоретическая «копилка» положительного политического опыта.

2. Система должна создавать уверенность, что её действие можно в любой момент проверить, особенно при подсчёте голосов, то есть она должна быть достаточно «прозрачной». Есть неплохие, очень «справедливые», то есть почти идеальные с точки зрения математика системы, у которых лишь один недостаток – они чрезмерно сложны в обиходе: например, так называемая система STV (Single Transferable Vote, «единственного передаваемого голоса»). И может просто не существовать такого общественного механизма, который убедительно гарантировал бы их надёжность: особенно в молодых, не вполне сложившихся ещё демократиях.

3. Система не должна создавать заведомо критических ситуаций в обычных, повседневных режимах работы. Ни одну систему нельзя проверить во всех режимах заранее. Нет системы, в которую был бы встроен механизм саморегуляции: как всякий закон, принимаемый в борьбе, избирательное законодательство – жёсткая конструкция. И если требовать от неё чего-то в пределах разумного, так это того, чтобы она работала, не давая явных сбоев, по крайней мере, в «штатных» ситуациях.

4. Система не должна вызывать болезненной реакции в обществе в целом и в его отдельных частях, а именно:

✓ не должна дискриминировать кого бы то ни было слишком явно, то есть не должна быть оскорбительной или ставить в откровенно неравное положение меньшинства (хотя, разумеется, не



должна слишком посягать и на права объективно существующих «большинств»). Знатоки демократических институтов в неоднородных обществах, такие, как Аренд Лейпхарт, вообще советуют, как общее правило, допускать некоторое завышение представительства меньшинств;

✓ не должна вызывать слишком явных негативных воспоминаний о прискорбных прецедентах. Пропорциональная система одной из разновидностей плохо сработала в Веймарской Германии, поэтому в этой стране существует серьёзное предубеждение против такой системы.

И ещё несколько наблюдений, относящихся уже не к сути систем, а к тому, что связано с их выбором и принятием. Никогда нельзя сказать сразу, как будет действовать на практике та или иная система: необходимо очень серьёзное моделирование её действия, которое может и не дать результата. Не стоит верить только на слово убеждённым сторонникам определённых систем – обычно они движимы каким-то особым интересом, даже если и не признают его сами. Не случайно законы о выборах обсуждают обычно с большей страстью, чем бюджет. Через бюджет раз в год распределяются деньги, которые потом обычно разными путями перераспределяются. Через закон о выборах – власть и статус, перераспределяемые гораздо реже и с большим трудом.

## Библиографический список

- 1) Алданов М. А. 1922. Огонь и дым. – Париж: Франко-русская печать.
- 2) Анненков П. В. 1928. Литературные воспоминания. – Л.: Academia.
- 3) Бланки Л. О. 1952. Избранные произведения. – М.: Изд-во АН СССР.
- 4) Болингброк Г. С.-Д. 1978. Письма об изучении и пользе истории.- М.: Наука.
- 5) Бутенко В. А. 1913. Либеральная партия во Франции в эпоху реставрации 1810–1820. Т.1. – СПб.
- 6) Дюкло Ж. 1974. Мемуары в 2х тт. Т.1. – М.: Политиздат.
- 7) Жорес Ж. 1977. Социалистическая история французской революции в 6 тт. Т.1. – М.: Прогресс.
- 8) Киреевский И. В. 1979. Критика и эстетика. – М.: Искусство.
- 9) *Конституции буржуазных государств* 1982. – М.: Юридическая литература.
- 10) Кропоткин П. А. 1979 Великая французская революция 1789–1793. – М.: Наука.
- 11) Леонтьев К. Н. 1912. Собр. соч. Т. 6. – М.
- 12) Люблинская А. Д. (ред.) 1978. История в энциклопедии Дидро и д`Аламбера. – Л.: Наука.
- 13) Маркс К., Энгельс Ф. 1980. Сочинения. 2-е изд. – М.: Политиздат.
- 14) Монтескьё Ш. 1955. Избранные произведения. – М.: ГИПЛА.
- 15) Прицкер Д. П. 1983. Жорж Клемансо: политическая биография. – М.: Мысль.
- 16) Салмин А. М. 1984. Промышленные рабочие Франции: к изучению сдвигов в политическом поведении. – М.: Наука.
- 17) де Токвиль А. 1897. О демократии в Америке. – М.
- 18) де Токвиль А. 1911. Старый порядок и революция. – М.: Рихтер.
- 19) Тютчев Ф. И. 1913. Полн. собр. соч. – СПб.
- 20) Фукуяма Ф. 1990. Конец истории // Вопросы философии. №3.

- 21) Шамфор 1993. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты.- М.: Ладомир - Наука.
- 22) Blondel J. 1974. The Government Of France. – N.Y.: Crowell.
- 23) Carstairs A.M. 1980. A Short History Of Electoral Systems In Western Europe. – L.: Allen & Unwin.
- 24) Dupeux G. 1960. Citizen Participation In Political Life: France // International Social Science Journal. №12.
- 25) Gierke A. 1900. Political Theories Of The Middle Age. – Cambridge: C.U.P.
- 26) Hoffmann S. 1979. Fragment Floating In The Here And Now // Daedalus. Vol. 108. №1.
- 27) Huntington S.Ph. 1991. The Third Wave. Democratization In The Late Twentieth Century.- Norman, L.: Univ. of Oklahoma Press.
- 28) Lijphart A. 1984. Democracies. Patterns Of Majoritarian And Consensus Government In Twenty One Countries. – New Haven: Yale University Press.
- 29) Mill J.S. 1958. Considerations On Representative Government. – N.Y.: Liberal Arts Press.
- 30) Siegfried A. 1951. Approaches To An Understanding Of Modern France // Modern France: Problems Of The Third And Fourth Republics. – Princeton: P.U.P.
- 31) Tarrow S. 1977. Between Center And Periphery: Grassroots Politicians In Italy And France. – New Haven, L.: Yale University Press.
- 32) Taylor P.J., Johnson R.J. 1979. Geography Of Elections. – N.Y.: Penguin Books.
- 33) *The Federalist Papers*: A. Hamilton, J. Madison, J. Jay. 1961. – N.Y.: Penguin
- 34) Crozier M. 1971. La societe bloquee. – P.: Seuil.
- 35) Duverger M. 1967. La democratie sans le people. – P.: Seuil.
- 36) Duverger M. 1974. La Cinqueme Republique. – P.: P.U.F.
- 37) Goguel E., Grosser A. 1970. La politique en France. – P.: Colin.
- 38) de Kervasdoue I. et autres. 1976. La loi et le changement social: un diagnostic. La loi du 16 juillet 1971 sur le fusions et regroupement des communes // Revue française de sociologie. Vol. 17. № 3.

- 39) Mirabeau H.G.R. 1851. Correspondance entre le comte Mirabeau et le comte de la Marck pendant les annees 1789, 1790, 1791. T.1. – P.: Le Normant.
- 40) Renan E. 1882. Qu`est-ce qu`une nation? Conference faite en Sorbonne, le 11 mars 1882. – P.: Calmann-Levy.
- 41) Saint-Just A. 1946. Oeuvres. – P.: Cite universelle.
- 42) Siegfried A. 1913. Tableau politique de la France de l`ouest sous la Troisieme Rebiblique. – P.: Colin.
- 43) Vovelle M. 1972. La Chute de la monarchie, 1787–1792. – P.: Seuil.